

ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ ЗАВТРА. ¹⁾

Романъ Гвидо да Верона.

Съ итальянскаго.

Guido da Verona. „La vita comincia domani“. Milano, 1913.

VIII.

— Право лишить жизни...—медленно выговорилъ Андреа голосомъ, казалось, измѣрившимъ значеніе каждаго слога этой темной дилеммы, разглядывая на свѣтъ маленькую бутылочку, наполненную безцвѣтной жидкостью. Эта жидкость была прозрачна, какъ вода, и, однако-жъ, въ ея чистотѣ было что-то подозрительное, зловѣщее. Ни цвѣта, ни запаха, но роковая возможность—убить, лишить жизни; между тѣмъ какъ вода говоритъ о невинности и знаменуетъ собою безвредность. Свѣтъ небольшой лампочки ложился лучистымъ кружкомъ на стекло ампулы, и отраженіе этого свѣта горѣло на пальцахъ Андреа, бросало отблескъ, какъ бы отъ рефлектора, на весь обликъ самого изслѣдователя.

Онъ былъ одинъ въ своей комнатѣ, запертой на ключъ, среди высокихъ полокъ, заставленныхъ книгами, и стеклянныхъ шкафовъ, въ которыхъ хранились всевозможныя банки и склянки. Его рабочій столъ изъ клена, ничѣмъ не покрытый, заваленный блокъ-нотами, пробирками, шприцами, ретортами, закупоренными бутылочками, былъ такъ великъ, что одинъ занималъ треть комнаты. Въ нишѣ, имѣвшей форму глубокой арки, вдавленной въ толщю стѣны, вдоль по стѣнѣ, стояла кровать, завѣшанная пологомъ съ балдахинномъ, не покрывавшимъ ея цѣликомъ.

На немъ былъ надѣтъ поверхъ платья сѣрый полотняный халатъ, стянутый у кистей рукъ и шнуркомъ по талии, словно ряса монаха; въ этомъ одѣяніи его высокая фигура казалась еще суровѣе.

¹⁾ Продолженіе. См. *Русская Мысль* 1915 г., кн. I и II.

Кругомъ была тишина; домъ, казалось, забылся первымъ сномъ, хотя, по всей вѣроятности, его обитатели, хотя и разошлись по своимъ комнатамъ и погасили свѣтъ, еще не спали. Изъ сада внизу налетавшій вѣтеръ доносилъ запахъ жасмина.

— Право лишитъ жизни...—повторилъ онъ, еще медленнѣе, растягивая каждое слово.—„Убить“. Красивое, страшное слово, котораго никто не посмѣлъ вставить въ законъ человѣческой. „Ты не можешь убивать, потому что не можешь творить“, говорятъ евангелисты... Но развѣ вся природа не представляетъ собой зрѣлища убійства, непрерывной рѣзни? И развѣ смерть не есть въ то же время нестоимая производительница?

Принято думать: это зло, а это добро. Но какъ же провести грань? Какъ и кто проведетъ ее?

Узелъ туго затянутъ, но развязывается онъ просто: для того, чтобъ моя жизнь могла продолжаться, мнѣ нужна чья-то смерть. Вы допускаете, что есть случаи, когда двѣ жизни неразрывно связаны между собою? Вы допускаете далѣе, что могутъ быть случаи, когда двѣ жизни несовмѣстимы, такъ какъ обоимъ необходимо одно и то же, а принадлежать оно можетъ только одному? Если лодка, на которой спасаются утопающіе, не можетъ поднять больше одного человѣка, естественно, хотя и мерзко, что между двумя желающими сѣсть въ нее идетъ борьба, не знающая пощады и жалости; во время пожара болѣе сильные опрокидываютъ слабыхъ и топчутъ ихъ ногами. Посмотрите вокругъ себя—мнръ полонъ такихъ примѣровъ.

Теперь я вамъ такъ скажу: не одна жизнь, а три заразъ, также неразрывно связанная между собой, переживаютъ мучительную агонію. Женщина, которую я люблю, ребенокъ, который у нея долженъ родиться отъ меня, и я самъ—крѣпко сплоченная группа, полная силъ и энергій, остановилась и не можетъ идти дальше изъ-за того, что обреченный на смерть умираетъ слишкомъ долго.

Законъ?—Законъ выработанъ такими же людьми, какъ и я; это—цѣпь, необходимая для сдерживанія слабыхъ; я сильный—я разрываю ее; я хитрый—я ее обхожу. Совѣсть?—Совѣсть—это малодушіе, трусость, атавистическій низменный страхъ, живущій въ человѣкѣ,—ее надо научить чувствовать согласно съ тѣмъ, какъ мыслить нашъ умъ. Для чего же тогда росли бы на землѣ ядовитыя растенія, выдѣляющія медленные вѣрные яды, не оставляющіе слѣдовъ, если-бъ сама Природа не поберегла для человѣка возможности безнаказанно и незамѣтно лишать жизни? И чего же стоила бы Любовь, если-бъ ради нея мы не были спо-

способны совершить геройскій поступокъ, хотя бы и жестокой? Я не могу устранить себя, ибо *моя* смерть не спасетъ ихъ, а погубитъ. Я любилъ женщину, которая не была моею, и сдѣлалъ ее матерью: мнѣ невозможно освободить *ее* отъ беременности—это было бы также преступленіемъ... Что же мнѣ—дать ей убить себя? О, судьи, неужели же я буду такъ низокъ, что не сдѣлаю для нея того, что могу сдѣлать?

— Ты не долженъ былъ любить ея,—скажете вы;—твой грѣхъ ведетъ начало издалека.

— Ну, такъ скажите голодному: ты не долженъ хотѣть ѣсть. Велите зажженному факелу: не гори. Все можно сдѣлать въ этомъ мірѣ, одного только нельзя: не любить того, что любишь.

И потомъ, какъ вы сами говорите: грѣхъ ведетъ начало издалека. И вотъ, теперъ на одной чашкѣ вѣсовъ лежитъ право на жизнь двухъ существъ, въ которыхъ отнынѣ единственный смыслъ жизни для меня; на другой—вѣрная, но затяжная агонія, медлительная, но безнадежная... двѣ молодости—и могила, два богатства съ одной стороны—и нищета, убожество съ другой. И выборъ въ моей власти. Одно смѣлое движеніе руки, невидимая капля яда, потомъ скрытыя муки моей совѣсти—и узелъ разрубленъ. Такъ вотъ, передъ такой дилеммой что, по-вашему, честнѣе: понимать ли совѣсть, какъ рабью трусость, бѣгущую отъ преступления потому только, что она боится кошмаровъ *потомъ*... или же какъ жестокое мужество, которое гонитъ и душитъ эти кошмары, ради счастья тѣхъ, кто ему дорогъ?...

О вы, невидимо присутствующіе, ужасайтесь, сколько хотите, но я скажу вамъ безтрепетнымъ голосомъ:—Я отдаю на закланіе самого себя, во имя своей любви, своего долга отца передъ ребенкомъ, и, если-бъ былъ на свѣтѣ иной судъ, кромѣ исповѣдальни и присяжныхъ, судья, свободный отъ всякаго предубѣжденія, сказалъ бы мнѣ:—Ты анархистъ—и святой. Если ты въ состояніи жить, неся бремя своего преступления, твоя собственная сила оправдываетъ тебя. Съ людьми же молчи и скрывай, ибо они не поймутъ...

И, словно въ отвѣтъ, издали донеслись рыдающіе звуки скрипки юродиваго и его пѣснь отчаянія:

Я—странникъ, не зная покою, идущій изъ царства умершихъ, неся
свой скелетъ за спиною;

Онъ горло сдвинулъ мнѣ руками; ногами въ колѣни мнѣ бьется...

„Иди!“ говоритъ мнѣ со смѣхомъ, „иди... жизнь завтра начнется“...

И вотъ, я спросилъ у скелета: „ты можешь сказать мнѣ: куда“?...

Отвѣтилъ: „въ царство живущихъ, а имя ему—Суста...“

Ты была съ ней въ душистой постели; могучею скована силой,
Дрожа, она въ робкомъ смущеньи въ измятое пряталась ложе...
Зачѣмъ — коль не хочешь побоевъ — ты дажь мнѣ отвѣдать той
дрожи?...

Я — странникъ, не знающій цѣли, идущій изъ царства умершихъ
Навстрѣчу далекимъ потомкамъ, чьи души уже отлетѣли...

Жизнь начинается завтра
Завтра, да, завтра. Иди!...

Пѣсня приближалась, трагическая, зловѣщая, среди ночной
тишины и на порогѣ двери вдругъ оборвалась... За дверью сто-
яль юродивый, стучаль въ дверь костяшками пальцевъ и со смѣ-
хомъ кричалъ:

— Отвори!

Андреа быстро спряталь въ шкафъ нѣсколько бутылочекъ, но
не откликнулся и не отперъ двери.

— Отвори же! — настаиваль юродивый, вертя ручку двери; но
дверь была заперта изнутри, на ключъ.

— Что тебѣ?

Глухо и упрямо голосъ Маркуччіо повторяль: — Впусти меня!...

Андреа повернулъ ключъ въ замкъ и посторонился, чтобы
пропустить юродиваго. Маркуччіо, зажимая въ рукѣ смычокъ, съ
перекошеннымъ ртомъ, дошелъ до середины комнаты, озираясь
кругомъ, потомъ сообщилъ:

— Новелла плачетъ.

— Откуда ты знаешь?

— Плачетъ, — со злостью повториль юродивый.

— Скажи, откуда ты знаешь?

— Видѣль въ замочную скважину. Ну — да, видѣль. Сидить
въ углу, въ своей комнатѣ, и реветъ.

— Такъ. Дальше? — помолчавъ, выговориль Андреа.

— Ничего. Я только хотѣль сказать, что она плачетъ, — повто-
рилъ Маркуччіо, почему-то повышая голосъ.

— Ты, значить, подсматриваешь въ замочныя скважины?

— Всегда.

— Зачѣмъ?

Онъ опять захохоталь, кривя губы, и сдѣлаль рукой какой-то
неопредѣленный жестъ.

— Въ замочную скважину я много разъ видѣль Бертю въ
одной рубашкѣ: Берта носить чулки съ красными бантами — вотъ
здѣсь... — онъ указаль на верхнюю часть ноги.

Андреа пристально, съ жалостью смотрѣлъ на него.

— Тебѣ не спится, Маркуччіо?

— Весенними ночами никому не спится.—Потомъ, глупо ухмыляясь, онъ прибавилъ:—Я часто потихоньку подсматриваю за Бертой въ замочную скважину, когда она раздѣвается. Она толстенная.

— Ты и въ охотничьемъ павильонѣ подсматривалъ разъ, тоже въ замочную скважину...—строго началъ Андреа.

Маркуччіо грубо захохоталъ.

— Нѣтъ; я влѣзь на каменный столъ, который стоитъ возлѣ него, и подсмотрѣлъ въ окно. Тамъ была Новелла...

— Неправда!

— Нѣтъ, была!—разсердился юродивый и, указывая на него пальцемъ, добавилъ:—съ тобою.

— Берегись, Маркуччіо! горе тебѣ, если ты вздумаешь повторять это,—воскликнулъ Андреа, стиснувъ его руки.

— Новелла была почти голая, а ты... ай! Мнѣ же больно!—А ты ее осыпалъ маргаритками... у тебя были полны руки маргаритокъ... ай!... и ты... ай!... сыпалъ ихъ ей на грудь...

— Это ложь! Не смѣй повторять этого вранья. Ты плохо смотрѣлъ; меня тамъ не было и ея не было,—понялъ?

Онъ трясъ юродиваго за руку, повторяя: „Понялъ?“ Но тотъ упорно твердилъ:

— Нѣтъ... нѣтъ... ты былъ тамъ... и она была... И маргаритки были такія красивыя... ай! ай!... такія красивыя...

Андреа схватилъ его за плечи и, пристально глядя ему въ глаза, говорилъ:

— Слушай, Маркуччіо; все это ты видѣлъ во снѣ, а сны никому никогда не надо рассказывать, иначе — бѣда! Понимаешь... бѣда тому, кто рассказываетъ свои сны постороннимъ.

Юродивый раскрылъ ротъ отъ изумленія:

— Правда?

— Правда; рассказывать ихъ можетъ только неразумный человѣкъ, который самъ себя не бережетъ, понимаешь, Маркуччіо? Ибо горе тому, кто рассказываетъ, что ему снится.

Онъ легонько трясъ его за плечи, сдерживая гнѣвъ, въ надеждѣ заставить его понять или же внушить ему суевѣріе, какъ онъ уже внушилъ ему многое...

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ? Правда?

— Конечно; если ты будешь рассказывать это, я всёмъ скажу, что твои книги надо сжечь, потому что онѣ лживыя, и тогда ты не добьешься славы, понимаешь, Маркуччіо... славы!

Юродивый, весь дрожа, повторялъ:

— Не добьюсь славы... А если я ничего не скажу?

— О чемъ?

— О снахъ.

— Ахъ, о снахъ... тогда... — Заслышавъ шумъ, Андреа обернулся:— Кто тамъ?

Голосъ папа Стефано отвѣтилъ:

— Это я. Можно войти?

— Входите, входите.

— Это Маркуччио своимъ пѣніемъ заставилъ меня спуститься внизъ. — Онъ усмѣхнулся. — А вы все разсуждаете о матеріяхъ важныхъ? Ахъ вы, мыслители!

— А ты всегда мѣшаешь намъ, отецъ, — надменно замѣтилъ Маркуччио.

— Я думалъ, ты уже въ постели, сыночекъ, и вдругъ слышу твою пѣсенку.

— Въ постели? Я?... Какъ бы не такъ! Въ весеннія ночи мнѣ хочется ходить, ходить безъ конца, въ лѣсу, по берегу рѣки, со скрипкой, и играть... Но я боюсь... Всѣ женщины, которыя не спятъ въ апрѣльскія ночи, соскочили бы съ кровати и, съ распущенными волосами, босая, пошли бы за мной... Но я боюсь совъ и филиновъ... Мнѣ хотѣлось бы бродить по лѣсу, по берегу рѣки, играя на скрипкѣ самую красивую пѣсню, какую я знаю, и чтобъ за мной ходили полуобнаженные женщины... Но я боюсь вампировъ... Уфъ!... у вампировъ войлочныя крылья, и они сосутъ кровь, кровь... Ты знаешь, отецъ, пѣсню о вампиряхъ. Нѣтъ? такъ слушай...

Онъ медленно вышелъ изъ комнаты своей походкой автомата, ударившись спиной о косякъ двери, и скрылся во тьмѣ коридора... Тотчасъ же вслѣдъ затѣмъ скрипка его опять зарыдала, и пѣсня отчаянія оборвалась жуткимъ смѣхомъ...

— Бѣдный я!—тяжело вздохнулъ папа Стефано.—Бѣда за бѣдою валится на мой домъ. Подумайте сами, Андреа. Былъ у меня сынъ, которымъ я гордился, и вотъ что отъ него осталось. Выдалъ я замужъ дочь за хорошаго, честнаго человѣка, прекраснаго работника: болѣзнь подкосила его въ цвѣтѣ лѣтъ... Отъ такихъ ударовъ намъ, старикамъ, уже не оправиться. Но и этого недостаточно: а Новелла? Развѣ вы не видите, какъ измѣнилась за послѣднее время Новелла? Въ этомъ домѣ всѣ живутъ подъ какой-то глухою угрозой; я такъ и жду съ минуты на минуту, что на насъ обрушится новая напасть—не знаю, какая, но, можетъ быть, страшнѣй всѣхъ предыдущихъ.

— Не отчаивайтесь, Стефано. Вѣдь вы же вѣрите въ Бога?

— О да! Всею душой.

— Молитесь Ему, разъ вы умѣете молиться. Я вѣрю въ силу времени и въ человѣческую волю; и потому думаю, что отъ всѣхъ невзгодъ у насъ одно только прибѣжище—наше собственное мужество.

Но Стефано качалъ головой и смотрѣлъ на Ференто такъ, какъ будто что-то хотѣлъ сообщить ему. Очевидно, разъ онъ явился въ такой поздній часъ, у него была опредѣленная цѣль, а не одно только желаніе поплакаться на свою участь, и эти разговоры были только подходомъ...

— Кстати, о Джорджіо, — сказалъ онъ, наконецъ, — какъ вы его находите? Очень онъ плохъ?

Андреа приводилъ въ порядокъ столъ, переставлялъ бутылочки, перекладывалъ бумаги, шарилъ въ ящикахъ, все время переходя отъ шкафа къ письменному столу и обратно.

— Вѣчно одинъ и тотъ же вопросъ! — нервно поморщился онъ.—Если-бъ вы знали, какъ ничтожна наука врача передъ такой сложной проблемой, какъ жизнь человѣка.

— Но вѣдь я же вижу, что онъ умираетъ, — перебилъ Стефано, понижая голосъ.

— Это только ваше мнѣніе, ничего больше, — возразилъ Андреа, холодно пожимая плечами.

— Нѣтъ, не обманывайте меня, Андреа. Я старикъ, но я еще мужчина, и я хочу знать правду. Скажите, скажите мнѣ правду: онъ безнадеженъ?

— Нѣтъ еще, но положеніе очень серьезное.

— Знаете, давеча онъ мнѣ говорить, и такъ, знаете, спокойно, почти весело: „Послушайте, папа Стефано, надо бы намъ съ вами привести въ порядокъ наши дѣла—такъ, на всякій случай,—всегда лучше быть предусмотрительными...“

— Ну, это меня не касается, — рѣзко вскричалъ Андреа.—Если вы объ *этомъ* хотѣли посовѣтоваться со мной, то въ это я не вхожу.

— О, Андреа, я вѣдь не изъ корысти... Но у меня двѣ дочери, сынъ и старуха жена. А вы же знаете, что и усадьба, и земля—все принадлежитъ Джорджіо, который спасъ меня отъ банкротства, купивъ мое имѣніе, когда кредиторы мои готовы были продать его съ аукціона.

— Повторяю, это меня не касается. Онъ честный человѣкъ и самъ подумаетъ о женѣ.

— Но у Джорджіо есть братъ, человѣкъ жадный и распут-

ный, доставлявшій Джіорджіо немало огорченій... Онъ постоянно выманивалъ у него деньги...

— Короче говоря, Стефано, если я правильно васъ понялъ, вы хотѣли бы, чтобъ я какъ-нибудь понудилъ Джіорджіо сдѣлать завѣщаніе или узналъ бы, сдѣлано ли оно и въ чью пользу? Такъ?

Старикъ понурилъ голову, не отвѣчая.

— Ну такъ слушайте: я очень люблю и уважаю васъ, отецъ Стефано; и побужденія ваши нахожу вполне оправдываемыми, но объ *этомъ* вы, пожалуйста, со мной не говорите. Дѣлайте, что хотите, но я въ *это* не вступаюсь. И еще одно рѣшительно вамъ заявляю: я не допущу къ Джіорджіо ни поповъ, ни нотаріусовъ, если онъ самъ этого не попроситъ. И будетъ объ этомъ.

— Зачѣмъ такъ горячиться? Я никогда не видалъ васъ та-кимъ взволнованнымъ.

— Надо предоставить человѣческой душѣ свободу, отецъ Стефано, особенно, когда человѣкъ стоитъ одной ногою въ гробу. Ничего этого я не стану дѣлать и полагаю, что и Новелла того же мнѣнія.

— Такъ оно и есть на самомъ дѣлѣ, и это, по-моему, прямо удивительно.

— Не огорчайтесь, отецъ Стефано. Чась кончины есть часъ признательности или мести; надо только, чтобы человѣкъ самъ выбралъ, чего именно; а Джіорджіо въ полномъ разумѣ и памяти. И, наконецъ, еще разъ повторяю вамъ: это меня не касается. Одно только скажу вамъ: пока я живъ, ни вы, ни ваши дѣти не будете терпѣть нужды.

— Вы лучше меня, Андреа, — восторженно воскликнулъ старикъ, — и теперь мнѣ стыдно, что я...

— Стыдиться нечего: вы думали о вашихъ дѣтяхъ, — это свойственно человѣку. Оставимъ этотъ разговоръ; вмѣсто того я лучше отвѣчу откровенно на вашу вопросъ: Джіорджіо, дѣйствительно, плохъ, очень плохъ. Возможно, что моей помощи окажется недостаточно, — призовите другихъ врачей. Я самъ ему это предлагалъ, но онъ не хочетъ.

— Кто же можетъ спасти его, если вы не можете, — развелъ руками Стефано. — Что пользы звать врачей? Я же вижу, что онъ умираетъ, а мы, старики, умѣемъ распознавать смерть издали... Ну... до свиданья Андреа, доброй ночи. Если ему плохо будетъ, позовите меня. Доброй ночи.

Андреа долго еще стоялъ за дверью, прислушиваясь къ старческимъ тяжелымъ шагамъ, поднимавшимся по каменнымъ сту-

пенямъ. Потомъ опять присѣлъ къ столу, заваленному и заставленному всякой всячиной, и склонилъ на руки мучительно болѣвшую голову; въ недвижной тишинѣ онъ отчетливо слышалъ бѣненіе своего пульса; какъ пыль на дорогѣ, буря подхватила его горестное сердце и увлекла его за собою.

Свѣтъ электрической лампы съ рефлекторомъ падалъ на микроскопъ и, отраженный полированнымъ блестящимъ металломъ, сверкалъ на маленькихъ хрустальныхъ шприцахъ, на тончайшихъ иголкахъ, на разныхъ блестящихъ предметахъ, лежавшихъ на столѣ.

Мало-по-малу страшная физическая усталость овладѣла имъ, притупляя душевныя муки; голова его постепенно клонилась все ниже и ниже и, наконецъ, совсѣмъ легла на руку; онъ задремалъ. Немало долгихъ ночей онъ провелъ, не смыкая глазъ до разсвѣта, но есть моменты, когда тѣло наше, созданное изъ грубой матеріи, нуждающееся и въ пищѣ, и въ отдыхѣ, побѣждаетъ духъ и спасаетъ его забвеніемъ отъ всѣхъ его бѣдствій.

— Слушай, Андреа!...

Новелла вошла почти неслышно и нагнулась надъ нимъ.

Онъ тотчасъ встрепенулся, вскочилъ на ноги и, испуганно глядя на нее, спрашивалъ:

— Что такое? Что случилось?

— Ничего. Говори тише. Почему ты озираешься вокругъ? Что ты дѣлалъ? Уснулъ? Ты усталъ, а я тебя разбудила, мой бѣдный, милый!

Тогда онъ взялъ ее за руку, пожалъ, поцѣловалъ ее, почти съ признательностью, за то, что именно она, а не кто другой, разбудила его и что она не принесла страшной вѣсти.

— Ахъ, ты!... ты!... — Онъ смотрѣлъ на нее и улыбался. — Но только теперь ты уходи, будь добренькая... *онъ* можетъ услышать... Это неосторожно, очень неосторожно, что ты приходишь сюда.

— Ты всегда гонишь меня!

— Я не гоню тебя, зачѣмъ ты такъ говоришь?... Но видишь ли, это опасно... Я задремалъ за работой; но я чувствую, что сегодня ночью Джорджіо не спитъ и наблюдаетъ за нами.

— Хорошо; я сейчасъ уйду, но прежде... Какъ ты блѣденъ, любимый мой!

— Я усталъ.

— Прежде скажи, почему ты вотъ ужъ нѣсколько дней оставляешь меня все время одну, не говоришь со мной, не смотришь на меня, какъ будто всячески избѣгаешь меня.

Онъ снова упалъ въ кресло и стиснулъ кулаками виски.

— Молчи!... молчи!...

— Что я тебѣ сдѣлала? Развѣ ты не видишь, въ какомъ я отчаяніи?... Ты больше не любишь меня?

Тогда онъ воскликнулъ порывисто, страстно, безумно:

— Люблю! больше, чѣмъ когда-либо! какъ никогда не любилъ! Развѣ ты не чувствуешь этого?... Но ты вся окутана тѣнью, и я не могу коснуться тебя.

— Закрой глаза, чтобы не видѣть меня, и цѣлуй меня, цѣлуй! ..—страстно прошептала она.

Ея платье лежало у него на колѣняхъ, ея волосы щекотали ему лобъ; цѣлуя, она говорила:

— Что же намъ дѣлать?

Онъ отвѣтилъ ей на ухо; едва слышно:

— Ждать.

Она хотѣла еще что-то спросить, но онъ не далъ:

— Тсс! Молчи! Оставь меня одного и, если я не позову тебя самъ, не возвращайся сюда.

Она повиновалась: въ ухахъ ея звенѣло это маленькое и страшно огромное слово: *ждать*.

— Ты къ нему пойдешь?—спросилъ онъ.

— Нѣтъ, я боюсь; боюсь быть съ нимъ одна; никогда еще онъ не былъ такъ ласковъ; поминутно беретъ мои руки... цѣлуетъ ихъ... и руки у меня холодѣютъ...

Она инстинктивно прижала руки къ платью, какъ будто въ нихъ и сейчасъ еще сохранилось это ощущение холода.

— Поминутно гладить мои волосы, словно ребенка... Никогда онъ не былъ такъ кротокъ...

Онъ, не мигая, смотрѣлъ на нее и слушалъ...

— Знаешь, часъ тому назадъ, онъ уснулъ, держа мою руку въ своихъ; но въ комнатѣ горѣла свѣча, да и отъ окна свѣта было достаточно, чтобы видѣть его лицо. О, какой ужасъ!... Онъ судорожно сжималъ мою руку, а въ лицѣ у него была такая напряженность, такая застывшая мука... И во снѣ изъ угловъ рта у него поминутно текла слюна... какой ужасъ!... Потомъ онъ раскрылъ одинъ глазъ, одинъ только, такъ что зрачка не было видно, и остался такъ... Я думала, что онъ умеръ... хочу вырваться—силъ нехватаетъ; хочу крикнуть—голоса нѣтъ... до того жутко было смотрѣть на одинъ этотъ незакрытый глазъ и на эти мертвые губы, которыя какъ будто смѣялись надъ моимъ страхомъ...

— Довольно, довольно!...

Оба вздрогнули, услыжавъ шумъ въ сосѣдней комнатѣ, мо-

жетъ быть, въ комнатѣ больного... Новелла оезшумно выскользнула за дверь, прислушалась и исчезла въ коридорѣ, крадучись вдоль стѣны. Андреа остался стоять посреди комнаты, выпрямившись, готовый встрѣтить того, чьи шаги, знакомые ему, приближались къ его двери. Но не успѣлъ подумать: „это онъ“, какъ дверь отворилась.

На порогѣ стоялъ Джорджіо...

IX.

Джорджіо былъ страшенъ. Блѣдный, какъ мертвецъ, онъ едва держался на ногахъ. Съ минуту оба смотрѣли другъ на друга, затѣмъ Андреа спросилъ:

— Тебѣ худо?

Джорджіо покачалъ головой. Онъ былъ совсѣмъ одѣтъ, въ пиджакѣ изъ легкой шерсти, темной съ красноватымъ отливомъ; шея была обмотана шелковымъ шарфомъ. Нетвердой поступью онъ дошелъ до середины комнаты, потомъ указалъ пальцемъ на дверь и молвилъ:

— Закрой на ключъ, прошу тебя.

Изумленный Андреа не трогался съ мѣста.

— Запри дверь; мнѣ надо поговорить съ тобой наединѣ.

Машинально, какъ бы склоняясь передъ непреодолимою силой, Андреа повиновался.

Ключъ повернулся въ замкѣ, и они остались одни, лицомъ къ лицу. Послѣ нѣсколькихъ секундъ мучительно-тягостнаго молчанія Джорджіо выговорилъ упавшимъ голосомъ:

— Здѣсь была Новелла.

— Нѣтъ.

— Она *была* здѣсь.

— Ну да,—сконфуженно поправился Андреа,—она проходила мимо, коридоромъ... и зашла на минутку поговорить со мною...— И, помолчавъ, прибавилъ:—Поговорить со мною... о тебѣ.

Потомъ придвинулъ Джорджіо большое кожаное кресло, подталкивая его за спинку; больной въ изнеможеніи опустился въ кресло и прижалъ обѣ руки къ груди, какъ бы силясь утишить нестерпимую боль.

Его лихорадочно горячіе глаза встрѣтились съ острымъ и твердымъ взглядомъ челоуѣка, который когда-то былъ ему братомъ, и замерли въ нѣмомъ созерцаніи...

— Андреа!—неожиданно горестно воскликнулъ больной, и въ голосѣ его звучало всепрощеніе.—Андреа! Не надо больше лгать. Это бесполезно, потому что я умираю. Не надо больше лгать.

Ференто весь подобрался, съежился, словно собирая силы для отчаянной защиты и, не умѣя выбрать между правдой, въ которой нельзя было сознаться, и ложью, которая стала нестерпимой, машинально отступилъ въ тѣнь стѣнного шкафа и остался тамъ стоять, молча, понутивъ голову, въ ожиданіи слова, которое разлучитъ ихъ навсегда.

— Ты боишься меня—или ненавидишь меня?—спросилъ Джіорджіо и съ трудомъ приподнялся, держась за ручки кресла.

И, такъ какъ Андреа молчалъ, онъ разгорячился:

— Ты не можешь отвѣтить мнѣ? Не хочешь взглянуть мнѣ въ глаза? Въ былое время глаза твои умѣли смотрѣть.

Его голосъ звучалъ насмѣшкою и явнымъ вызовомъ. Подъ этимъ ударомъ Ференто выпрямился. Человѣкъ, который никогда ни передъ кѣмъ не клонилъ головы, никогда никого не боялся, понималъ, что и тутъ онъ долженъ дать отпоръ, какъ всегда—смѣло и дерзко.

— Между нами, думается мнѣ,—отвѣтилъ онъ,—молчаніе—самое лучшее.

Въ его голосѣ не было дрожи; онъ былъ холоденъ, суровъ, остеръ, какъ хорошо отточенное лезвіе. И, уже мягче, почти ласково, больной повторилъ свой вопросъ:

— Ты боишься или ненавидишь меня?

— Ни то, ни другое, Джіорджіо.

— Такъ что же?

— Я чувствую, что между нами пропасть, что по отношенію другъ къ другу мы теперь, какъ два автомата,—какіе ужъ тутъ разговоры!

— Нѣтъ, Андреа... твоя жизнь не кончена, и для тебя это превращеніе въ автомата—игра, которая затянется всего на нѣсколько часовъ; я же кончаю свою, и для меня эта игра нелѣпа. Я собралъ остатки силъ, чтобы прійти къ тебѣ поговорить съ тобой; не препятствуй же мнѣ, вѣдь мы оба всегда были мужественны.

Жуткій блескъ засвѣтился въ глазахъ Ференто. Онъ выступилъ изъ тѣни на свѣтъ.

— Хорошо. Если ты хочешь этого, поговоримъ.

— Не какъ враги, Андреа,—взмолился Джіорджіо съ грустной улыбкой.—Правда, прошлое разбито вдребезги,—и воспоминанія—ядовитые пауки, которыхъ лучше гнать подальше... Но есть въ мірѣ одно, что можетъ быть всегда отраднымъ—это увѣренность, что ты любилъ человѣка настолько выдающагося, что, какъ бы онъ потомъ ни обидѣлъ тебя, сколько бы зла тебѣ ни причинилъ, хотя бы судьба сдѣлала его твоимъ непримиримымъ врагомъ, по

совѣсти, душой ты не можешь возненавидѣть его... Это—первое, что я хотѣлъ тебѣ сказать.

Андреа бровью не повелъ, не шевельнулся, не отвѣтилъ слова.

— Ты помнишь... — продолжалъ больной глухимъ, далекимъ голосомъ. — Мы въ жизни дѣлили все по-братски, — помнишь, какъ въ нашей студенческой каморкѣ, на хромоногомъ столнкѣ, дѣлили пополамъ нашъ скудный обѣдъ? Потомъ, когда на Коннигангэтскомъ рудникѣ вспыхнулъ пожаръ и сгорѣло триста человѣкъ, и компанія всю отвѣтственность свалила на меня, я цѣлый годъ жилъ у тебя и тебѣ одному обязанъ — да, тебѣ одному обязанъ тѣмъ, что могъ подняться на ноги и начать сызнова.

— Если ужъ сводить счеты, такъ я тебѣ обязанъ столько же и даже больше, — рѣзко возразилъ Андреа.

— Вотъ теперь я узнаю тебя! — воскликнулъ Джорджио, съ улыбкою качая головой. — Ты сейчасъ стоишь передо мной совсѣмъ, какъ тогда, въ Римѣ, передъ собраніемъ, на которомъ товарищи обвиняли тебя въ томъ, что ты измѣнилъ имъ и продалъ ихъ дѣло тѣмъ, кто сулилъ тебѣ власть... Ты былъ блѣденъ, но смѣялся и стоялъ, сложивъ руки на груди, подъ градомъ негодующихъ криковъ и оскорбленій... пока, наконецъ, не схватилъ одного за горло, ближайшаго. И тогда сразу водворилось молчаніе и тебѣ дали говорить. Помню: голосъ твой звучалъ такъ, какъ будто ты коваль слова изъ звонкаго металла и сдавливалъ ихъ всей силой твоихъ кулаковъ, прежде чѣмъ швырнуть ихъ въ лицо противникамъ, въ безмолвный полукругъ, медленно разступавшійся; въ тебѣ было что-то магнетическое, электризующее, покоряющее толпу... и это покорило ихъ, сначала одного, потомъ другого, потомъ всѣхъ, и кончилось тѣмъ, что я увидѣлъ тебя надъ живымъ моремъ людей, кричащихъ и неистовствовавшихъ, съ торжествомъ несшихъ тебя на плечахъ...

— Скажи мнѣ: развѣ сейчасъ ты не тотъ же?

Красныя пятна выступили на лбу Ференто; глаза его загорѣлись.

— Тотъ же, и еще сильнѣе, чѣмъ былъ, — гнѣвно отчеканилъ онъ, — ибо самыя жестокія битвы — тѣ, которыя разыгрываются внутри насъ.

Онъ нервно зашагалъ по комнатѣ, какъ человѣкъ, котораго тѣснятъ со всѣхъ сторонъ и который, пригнувъ голову, какъ быкъ, бросается въ толпу, чтобъ проложить себѣ дорогу. И вдругъ порывисто заговорилъ:

— Пойми, я не хочу оправдываться. Нашъ договоръ нарушенъ: если ты пришелъ допрашивать меня, я отказываюсь отвѣ-

чать; если ты пришел обвинять меня—опять-таки отказываюсь слушать; если даже ты пришел сказать мнѣ, что ты меня прощаешь,—и прощенья я не приму. Незачѣмъ переводить на слова то, чего душа сильнаго не можетъ ни стерпѣть, ни измѣнить.

Джіорджіо хотѣлъ прервать его, но тотъ жестомъ остановилъ его.

— Дай мнѣ сказать: ни стерпѣть, ни измѣнить. Ты напомнилъ мнѣ боевые дни моей жизни, когда, подъ вліяніемъ честолюбія или по наивности, я еще вѣрилъ, что можно дѣлать добро толпѣ, покоряя ее волшебствомъ словъ и увлекая за собой и, дѣйствительно, былъ во мнѣ тогда этотъ демагогическій талантъ, это актерство, которое теперь мнѣ смѣшно. Впослѣдствіи я понялъ, что добро надо дѣлать въ тѣни, наединѣ съ собой, надъ книгами, или же съ голыми по локоть руками, врачую душу человѣка, или его тѣло, извѣденное всякой скверной. Я предоставилъ кричать другимъ; я сталъ выше ихъ, пошелъ своей дорогой; и сейчасъ, какъ я уже сказалъ тебѣ, я — тотъ же и еще сильнѣе; теперь мнѣ ясно, что въ нашемъ союзѣ, въ нашемъ договорѣ вѣчной дружбы не было предусмтрѣно одной возможности: почувствовать, что въ насъ зарождается ненависть—ненависть брата къ брату, злѣйшая изъ всѣхъ.

— Ты давеча поставилъ мнѣ вопросъ: боюсь я тебя или ненавижу. На минуту я смалодушествовалъ и отвѣтилъ: ни то, ни другое. Но я солгалъ, и разъ ты мнѣ напомнилъ о тѣхъ дняхъ, когда я былъ полонъ мужества и силы, я съ тѣмъ же мужествомъ отвѣчу тебѣ: да, я ненавижу тебя.

Въ его стальныхъ глазахъ сверкалъ зловѣщій блескъ; губы его смѣялись, радуясь, что высказали правду.

— Вотъ это хорошо, что ты не лжешь, вотъ такимъ я тебя предпочитаю, — съ спокойной гордостью отвѣтилъ Джіорджіо. — Будь это въ другое время моей жизни, я принялъ бы твои слова за вызовъ...

Андреа покачалъ головой.

— Ты, можетъ быть, не понялъ меня.

— Нѣтъ, понялъ. Ты хотѣлъ сказать, что между людьми все ненадежно и непрочно, какая-нибудь случайность все можетъ измѣнить, потому что и сами мы измѣнчивы и ненадежны, рабы чувства, которое тиранически властвуетъ надъ нами.

Но Андреа, все время съ горечью качавшій головой, прервалъ его:

— Я хотѣлъ сказать, что моя ненависть къ тебѣ, Джіорджіо, нѣчто вродѣ безмолвнаго угрызенія, остатокъ добросовѣстнаго

отношенія къ тебѣ, въ которомъ я ищу прибѣжища, растративъ всё свои силы на бесплодную борьбу съ судьбою, разлучившей насъ... Я ненавижу тебя—да, но такъ, что, если бы своею смертию я могъ искупить свою вину передъ тобой или сдѣлать тебѣ какое-нибудь добро, хотя бы минимальное,—я, не колеблясь, не задумываясь, отдалъ бы тебѣ свою жизнь.

— Тогда зачѣмъ же ты прячешься за этими словами? Маску долой! Назови все своимъ настоящимъ именемъ.

— Нѣтъ, нѣтъ. Будемъ говорить о насъ, только о насъ однихъ. Какъ я всегда уважалъ твою вѣру, которой не могъ дѣлать, такъ ты уважай мою волю, потому что она—единственное прибѣжище невѣрующаго. Не забывай, что мнѣ, можетъ быть, легче стало бы, если-бъ я исповѣдался передъ тобой, какъ вамъ, вѣрующимъ, легче становится, когда вы исповѣдуете свой грѣхъ передъ тѣмъ, кто вамъ можетъ отпустить его. Прощенія твоего я не хочу, но вмѣсто этого скажу тебѣ: „Да, я любилъ ее... это было написано мнѣ на роду: я полюбилъ ее...“

Слова эти прозвучали вѣско и жутко, какъ признаніе преступника, который говоритъ судьѣ: *да, я убилъ*. И Джіорджіо, подавленный, какъ если бы за этими словами не было ужъ ничего, кромѣ безпредѣльной пустоты, безмолвно склонилъ голову. Наступила долгая пауза, но въ тихой комнатѣ какъ будто еще звучалъ отголосокъ этихъ словъ... Андреа заговорилъ первый:

— Видишь, и я боролся. Ты знаешь: я силенъ; всей силою своею я боролся съ этими чарами, но тщетно. Все можно раздавить тисками нашей воли, но только не любовь, которая завладѣваетъ нашимъ тѣломъ, нашимъ духомъ и не допускаетъ въ насъ даже того акта возмущенія, который обрываетъ все,—добровольной смерти.

— Я знаю это,—глубоко вздохнулъ Джіорджіо.

Потомъ, съ трудомъ вставъ съ кресла, подошелъ къ Андреа совсѣмъ близко.

— Я это знаю; съ перваго дня, когда ты посмотрѣлъ на нее съ любовью, я зналъ. Это было... хочешь, я напомню тебѣ, когда?

— Къ чему, Джіорджіо? Это было такъ давно!...

— Дѣйствительно, давно... И то уже было большимъ несчастьемъ, что ты полюбилъ ее... — продолжалъ Джіорджіо, медленно отчеканивая каждый слогъ, — но и она полюбила тебя, еще раньше, чѣмъ ты ее, и *это* было ужъ непоправимо.

Андреа недовѣрчиво покачалъ головой.

— Раньше... много раньше... въ сущности, она, можетъ быть,

никогда и не была по-настоящему моей. Но мнѣ было достаточно того, что она не любила и никого другого... И горе мнѣ, если-бъ тогда я могъ надѣяться хоть когда-нибудь, хоть какъ-нибудь вернуть ее, потому что тогда моя ненависть пошла бы дальше твоей... и, въ силу инстинкта, присущаго каждому живому существу—отстаивать свое добро, хотя бы цѣной преступленія, я погубилъ бы свою душу, поставивъ свою любовь—а она была велика—превыше Бога. Но... она слишкомъ любила тебя, и бесполезно было пробовать.

— Ты бы сдѣлалъ это... ты и на это пошелъ бы?—пролепеталъ Андреа.

— Да. И ты не усомнишься въ этомъ, если вспомнишь полностью всю мою жизнь. Но я вѣрю въ Бога, и моя вѣра спасла меня отъ ослѣпленія и бесполезнаго грѣха. Ибо и въ великомъ грѣхѣ можетъ быть красота, какъ въ великомъ прощеніи... Я простилъ вамъ обонмъ—не устами, не тѣми словами, которыхъ ты давеча не хотѣлъ слушать, но душою своею, своею вѣрой, всѣмъ, что еще живетъ и дышитъ во мнѣ. Пойми: не по-христіански, но по человѣчеству простилъ, не изъ милосердія, но по велѣнію разсудка, не ради того, чтобъ купить себѣ райское блаженство, которое сулятъ попы, но ради вашего счастья.

— Нашего счастья?—удивленно и подозрительно переспросилъ Андреа.

— Да. И не приписывай мнѣ за это святости, которой во мнѣ нѣтъ. Будь я настоящимъ человѣкомъ, я бы жаждалъ жить, и, чтобы жить, мнѣ было бы необходимо устранить тебя, но теперь что я такое? Развалина, испорченная машина, которая перестала дѣйствовать... хуже: клочокъ расплзающейся матеріи, отъ котораго скоро ничего не останется. Для меня гаснетъ солнечный свѣтъ, который зовется жизнью; и если слабые, жадные и малодушные именно подъ конецъ отчаянно цѣпляются за блага, оставляемые ими здѣсь, я—именно потому, что и я былъ сильнымъ, какъ ты, и гордымъ, какъ ты—покидаю ихъ безъ ненависти къ тѣмъ, кто еще можетъ жить, человѣколюбиво и кротко говоря имъ: вы въ своемъ правѣ... живите...

Андреа задумался на мигъ, потомъ воскликнулъ:

— Я не вѣрю тебѣ, слишкомъ большія слова ты говоришь, такія слова не подъ силу человѣку.

— Слова, быть можетъ, и большія, но правда, скрытая въ нихъ, не такъ ужъ возвышенна. Въ самой безмятежной философіи, въ самомъ высокомъ самоотреченіи на днѣ таится тяжкая обида на жизнь. Такъ и со мной. Ну, хорошо, я умалю себя, совлеку съ

себя всё покровы,—гляди. Развѣ это живое тѣло—то, что у меня осталось? Развѣ есть у меня надежда исцѣлиться и начать сызнова? Нѣтъ; моя мука можетъ быть только болѣе длительной или болѣе краткой, но все же будетъ только мукой, и наукѣ не обмануть предчувствія близости смерти, отъ котораго стынетъ кровь, когда смерть уже влачится за нами, прячась въ нашей тѣни. Такъ и хочется крикнуть ей: „Подходи же и бери меня!...“ Развѣ это жизнь—не вставать съ кресла, кутаться въ платки и шали, глотать лѣкарства, страдать морально и физически, быть въ тягость и другимъ, и самому себѣ? И, наконецъ, пойми же. Я люблю женщину, какъ любишь ее ты, и знаю, что ей я внушаю только ужасъ. Я иногда желаю ея, я, обреченный, какъ ты желаешь ея, сильный и живой. Но ты можешь цѣловать ее... я—нѣтъ. Ты можешь взволновать ее своею страстью... я ужъ не могу... Все это, сознайся самъ, не такъ уже возвышенно, какъ показалось тебѣ въ первую минуту...

Онъ волновался, сжималъ кулаки; трагическій румянецъ окрасилъ его увядшія щеки; голосъ его былъ полонъ сарказма, направленного противъ самого себя.

— Такъ вотъ, видишь ли, я, изъ тщеславія, по малодушеству, и предпочитаю исчезнуть раньше, чѣмъ опротивлю ей окончательно, до того, что и самая память обо мнѣ станетъ ей ненавистной. Твоя красота для нея—въ твоей силѣ; я хочу, чтобъ и во мнѣ была для нея красота, хочу использовать послѣднее, что у меня остается,—доброту. Хочу, чтобъ ты не вытѣснилъ меня цѣликомъ изъ ея души, понимаешь? потому что и я ненавижу тебя... да! и я тоже—и еще сильнѣй, чѣмъ ты меня... Ты видишь самъ: все это не такъ красиво и не такъ благородно, какъ тебѣ казалось.

Но Андреа, рѣзкимъ движеніемъ какъ бы отодвигая отъ себя эти слова, вскричалъ:

— Нѣтъ! Все это неправда. Ты хотѣлъ „знать“, только „знать“. Ты говоришь о своей слабости, чтобъ сковать мою силу. Хорошо, разъ ты этого хочешь, взглянемъ еще разъ вмѣстѣ, какъ товарищи, въ лицо и этой опасности. Мы стоимъ вдвоемъ на узкомъ мостикѣ, который можетъ выдержать только одного...

Лицо Джорджио преобразилось.

— Какъ товарищи, сказалъ ты? Да, Андреа! Да, Андреа!...

Отъ волненія у него дрожали кончики пальцевъ.

— Да, Андреа,—повторялъ онъ.—Выслушай меня внимательно: все человѣческое тлѣнно и непрочное; все гниетъ и разлагается. И наша дружба, которая была красивымъ союзомъ двухъ сво-

бодныхъ душъ, не ушла отъ этого. Я не виню тебя, Андреа; это было неизбежно; такъ должно было случиться. Но есть нѣчто такое, что выше этого всего, это—воспоминаніе о томъ, чѣмъ мы были другъ для друга, ты и я, въ былое время, въ молодости... Въ этомъ клочкѣ разлагающейся матеріи еще живетъ что-то, быть можетъ, нелѣпое—сердце... И если я притаился сюда, то не затѣмъ, чтобъ разставлять тебѣ ловушки, не затѣмъ, чтобъ „знать“, ибо теперь ничто ужъ больше отъ меня не скрыто, но потому, что мнѣ не хотѣлось умереть, не завершивъ конечнымъ договоромъ нашъ дружескій союзъ, и хотѣлось сказать тебѣ то, что я говорю теперь: протяни мнѣ руку, Андреа. Разстанемся друзьями.

— Нѣтъ! ни за что! Смотри: если ты хочешь, я стану передъ тобою на колѣни, но не протягивай мнѣ руки, Джорджио, это нѣтъ...

— До какой степени ты ненавидишь меня?

— Себя ненавижу, себя самого, не тебя!

— Ты раздуваешь маленькую драму. Женщина, въ конечномъ счетѣ, только женщина... Она разъединила насъ; она же и соединить. Дай руку.

Тотъ, кто нѣкогда былъ ему братомъ, долго угрюмо смотрѣлъ на него. И, наконецъ, спросилъ:

— А если я не могу?... если *теперь* я уже не могу?... Понимаешь ты, какая сила въ этомъ словѣ: *не могу?*

— Слова, только слова, не больше... а кошмары... прогони ихъ.

Онъ кротко улыбался; какая-то царственная величавость была въ чертахъ его лица; въ его улыбкѣ и глазахъ была такая одухотворенность, такая отрѣшенность отъ земнаго, что блѣдное лицо его струило свѣтъ, какъ солнце, скрытое за тучами. Теперь онъ чувствовалъ себя болѣе сильнымъ и зналъ, что сумѣетъ повѣлывать.

— Дай мнѣ руку,—повторилъ онъ.—Ты мнѣ нуженъ.

— Я? Зачѣмъ? Чего ты хочешь отъ меня?

— Помощи. Ты видишь, какъ я слабъ... Я нуждаюсь въ помощи, и ты одинъ мнѣ можешь дать ее.

— Какую?

— Твою руку, дай мнѣ твою руку.

— Не могу.

— Можешь, можешь!... если еще чувствуешь себя способнымъ сдѣлать мнѣ подарокъ.

— *Ее?*...—пролепеталъ Андреа, и въ этомъ краткомъ словѣ прорвались наружу весь ужасъ, вся тревога, которые наполняли его душу.

— Нѣтъ, не ее... другое, болѣе прекрасное... Дай руку.

Внезапно, порывисто, Андреа протянулъ руку бывшему своему другу и брату, стоявшему на краю могилы... человѣку, который былъ когда-то для него святыней... Оба вздрогнули и поблѣднѣли, словно это пожатіе, въ послѣдній разъ соединившее ихъ руки, было священнымъ обрядомъ, навѣки нерушимо связавшимъ ихъ въ одно цѣлое...

— Теперь слушай, — сказалъ Джіорджіо. — Высшее благо — не жизнь, а покой. Посмотри мнѣ въ глаза: ты прочтешь въ душѣ моей, что я не лгу. Я простилъ тебѣ, — тебѣ и ей; поставилъ ваше благо, ваше счастье выше своего. Разъ вы любите, разъ грѣхъ оказался сильнѣе вашей честности, разъ въ мірѣ для васъ еще возможно счастье, такъ будьте же счастливы хоть вы... Жизнь, которая стала въ тягость себѣ самой, должна исчезнуть. Но это великая жертва, и хотя душа способна на нее, тѣло не хочетъ, тѣло ревнуетъ, завидуетъ, отчаянно цѣпляется за жизнь... И вотъ, я прошу тебя: Андреа, братъ мой, освободи меня отъ этой жалкой плоти... Дай мнѣ яду.

— Яду?!... — въ ужасѣ пробормоталъ Андреа.

— Да, потому что высшее благо — не жизнь, а покой. Я прошу у тебя покоя, и, если ты не откажешь мнѣ въ этомъ дарѣ, я скажу, что ты честно выполнилъ долгъ дружбы. Я не хочу нарушить вульгарною трагедіей покой этого дома, но я все-таки хочу умереть, зная, что вы счастливы, — и не видѣть васъ больше.

Онъ говорилъ, не заботясь о томъ, слушаютъ его или нѣтъ; голосъ его былъ тускль и холоденъ, какъ зимній день; слова падали изъ устъ его тихо, какъ хлопья снѣга на лугъ.

— Яду... — растерянно повторялъ Андреа, не въ силахъ страхнуть съ себя магнетическое оцѣпенѣніе, въ которое повергло его это слово.

— Да, Андреа. Что же ты такъ поблѣднѣлъ? Это такъ просто — былъ человѣкъ и нѣтъ его — что можетъ быть проще?

Онъ улыбался далекой улыбкой; въ его усталыхъ рѣчахъ была неотразимая убѣдительность.

— Видишь ли: выброситься изъ окна — это какъ-то противно; да и тѣло мое такъ ослабло, что у меня, пожалуй, не хватило бы духу этого сдѣлать, хотя я уже думалъ объ этомъ. Оружія у меня нѣтъ, да и такой конецъ, шумный и драматическій, не соответствуетъ моимъ намѣреніямъ. Я, наоборотъ, хочу исчезнуть такъ, чтобъ никто, кромѣ тебя, не зналъ причины — какъ будто смерть просто пришла на нѣсколько дней раньше... Помни, что я сказалъ тебѣ: я прошу у тебя дара, и ты одинъ можешь мнѣ дать

его—и *долженъ* дать, ибо я дошелъ до послѣдней крайности, я не въ силахъ больше вынести ни одного лишняго дня этой пытки. Вѣдь я люблю ее! люблю, какъ ты, съ отчаяніемъ, со всей бѣшеной страстью агоніи умирающаго, и тѣло мое возмущается при мысли, что она—твоя.

— Видишь, Андреа, я говорю съ тобой, какъ говорятъ только съ самимъ собой... нашъ договоръ выше мелкихъ соціальныхъ условностей: есть случаи, когда благороднѣе отнять жизнь, чѣмъ спасти ее. Ты, самъ того не желая, отнявшій у меня все, не можешь отказать мнѣ въ этомъ: дай мнѣ яду.

Ференто слушалъ, не глядя на него, не сводя глазъ съ видимой только ему точки въ темнотѣ, приковавшей къ себѣ его взглядъ; слушалъ, и когда Джіорджио молчалъ, но ни одна черточка въ его лицѣ не дрогнула: съ ногъ до головы онъ словно весь застылъ въ своей злобѣщей неподвижности.

Потомъ медленно подошелъ къ больному, пристально глядя ему прямо въ глаза своими стальными глазами, въ которыхъ вспыхивали темные огоньки.

— Твоя просьба—изъ тѣхъ, которыя люди въ здоровомъ умѣ рѣдко рѣшаются высказывать; но это не пугаетъ меня. Проверь себя хорошенько, прежде чѣмъ отвѣтить: увѣренъ ли ты, что хочешь того, о чемъ просишь?

Джіорджио прижалъ руку къ груди, точно присягая на Евангеліи.

— Я прошу у тебя смерти съ той же ясностью духа, съ какой пылкій юноша проситъ, чтобъ его послали въ бой, зная, что онъ съ высоко поднятой головой, смѣясь, встрѣтитъ опасность. И прошу ея *у тебя*, потому что ты одинъ, изъ всѣхъ, кого я знаю, способенъ безтрепетной рукою поднести мнѣ этотъ даръ.

— Ты думаешь?

— Я это знаю.

Наступила пауза, но отголосокъ этихъ словъ еще носился въ воздухѣ, и оба слышали, какъ стучать ихъ сердца, все громче. Неожиданно Андреа схватилъ больного за руку и заговорилъ скороговоркой:

— Джіорджио... Я, дѣйствительно, способенъ не дрогнуть и передъ этимъ простымъ разрѣшеніемъ величайшей проблемы, которую можетъ поставить человѣку его совѣсть. Я врачъ, и моя миссія исцѣлять—не убивать. Но не разъ у меня бывало искушеніе по собственной инициативѣ сдѣлать то, о чемъ ты меня теперь просишь, чтобъ избавить обреченнаго отъ жестокой и безцѣльной муки умирающаго. Если я этого не дѣлалъ, то лишь под-

даваясь предрасудку, лишь потому, что не умѣлъ побѣдить въ себѣ ненавистнаго мнѣ ощущенія страха. Было время, когда я еще не былъ виноватъ передъ тобой... если-бъ тогда ты пришелъ ко мнѣ съ этой просьбой, я смѣло отвѣтилъ бы тебѣ: ты правъ! Ты такъ и долженъ поступить. Я помогу тебѣ. Но теперь есть нѣчто между нами, что мѣшаетъ мнѣ... Можно украсть чужую жизнь, можно измѣной взять ее... но принять ее въ даръ, какъ ты мнѣ предлагаешь,—нѣтъ!

— Андреа, не рассуждай. Мы дошли до такого момента, когда рассужденія ужъ не помогутъ. Передъ тобою человѣкъ, который нѣкогда былъ дорогъ тебѣ, которому и ты былъ дорогъ и который страдаетъ, страдаетъ ужасно... Всей своей изстрадавшейся душой человѣкъ этотъ кричитъ тебѣ: „Мой путь оконченъ... я хочу исчезнуть!“... Такъ что же пользы рассуждать?... Мое рѣшеніе все равно принято: я, все равно, убью себя, такъ или иначе, и если ты спасешь меня, какъ это столько разъ удавалось тебѣ съ другими, ты только продлишь мои страданія... Неизбѣжнаго ни ты, ни я не въ силахъ измѣнить. Ты былъ мнѣ въ жизни другомъ и товарищемъ—такъ помоги же мнѣ... еще разъ помоги! Мнѣ нужна твоя помощь. Я хочу уйти, не запятнавъ кровью этого дома, гдѣ я былъ только гостемъ, не подложивъ терноваго вѣнца подъ траурный вуаль моей вдовы... Это останется тайной между тобой и мной—мы достаточно сильны оба для того, чтобы снести ее.

— Знаешь, что ты сдѣлалъ?—мрачно выговорилъ Андреа.— Ты мнѣ подставилъ зеркало и сказалъ: смотри. Я взглянулъ—и ужаснулся.

— Нечего ужасаться. Ты—живой и борешься за свою жизнь: въ этомъ вся разница между нами.

— Но вѣдь ты вѣрующій,—какъ же ты рѣшаешься убить себя?—снова прервалъ его Андреа, какъ бы выискивая новыя препятствія къ свершенію того, что становилось неизбежнымъ.

— Моя вѣра—иная,—спокойно отвѣтилъ Джорджіо.—Мой Богъ не жестокъ.

Онъ смотрѣлъ вверхъ, какъ бы уже далекій, уже освобожденный отъ всей скверны, которой загрязнены сердца людскія; прозрачные голубые глаза его были полны спокойной увѣренности, словно уже созерцали ясное видѣніе послѣдняго покоя...

Онъ протянулъ обѣ руки Андреа, какъ бы прощаясь:

— Прощай... ты былъ мнѣ дорогъ... можетъ быть, всего дороже въ этомъ мірѣ... и, если ты поможешь мнѣ, это только докажетъ твою вѣрность дружбѣ...

Ференто позеленѣлъ. И его стальные нервы дрогнули; и въ немъ заговорило сердце человѣческое, трепетное, хрупкое и боязливое, тающее подъ лучами доброты.

Съ устъ его готово было сорваться признаніе, послѣднее, самое ужасное...

— Слушай!.. Джіорджіо...

Но непобѣдимая сила сковала его голосъ, отбросила обратно въ трепетное сердце слова, которыя рвались наружу, и, думая о возлюбленной, о той, ради кого онъ „долженъ“ былъ пойти на преступленіе, онъ прошепталъ чуть слышно, словно спрашивая самого себя:

— Кто изъ насъ сильнѣй любилъ ее?..

Она встала между ними, прекрасная, обвѣянная желаніемъ обоихъ, и каждый чувствовалъ ея невидимую близость, терзался ею и желалъ ея, какъ если-бъ она прижималась къ нему своимъ роскошнымъ тѣломъ...

— Ты, вѣроятно, — выговорилъ Джіорджіо, — потому что ты остаешься, я же убѣгаю... а, главное, потому, что она — твоя.

Воспоминаніе о ней горячей волной пробѣжало по жиламъ обоихъ, и оба почувствовали, что между ними пропасть, шире и глубже самой смерти. Но оба еще молчали, выжидая, какъ будто въ этомъ оттягиваніи была непредвидѣнная надежда... Съ невѣроятной быстротой мысль ихъ переносилась отъ смерти къ жизни, отъ начала къ концу человѣческаго бытія...

— Итакъ?... — послѣ долгаго молчанія спросилъ Джіорджіо.

Андреа не сразу отвѣтилъ: онъ искалъ въ самомъ себѣ опоры противъ своей воли.

— Одинъ вопросъ. Ты сдѣлалъ бы для меня то, о чемъ ты просишь?

— Если-бъ это могло принести больше пользы, чѣмъ то, что я отдамъ тебѣ свою жизнь, — да, я это сдѣлалъ бы.

— Но для того, чтобы такъ поступить, надо быть достойнымъ... А я, можетъ быть, уже недостойнъ...

Языкъ его былъ скованъ, но изъ глазъ говорила душа, обвинявшая себя съ правдивостью отчаянія.

— Чѣмъ больше препятствій ты преодолѣешь, тѣмъ большимъ будетъ для меня твой даръ...

— Но, Джіорджіо... если Новелла... если я... если что-нибудь, чего ты не знаешь... приковываетъ меня къ жизни, связываетъ меня, не дасть мнѣ покарать себя тою же рукой, которая поможетъ тебѣ, если...

— Молчи, молчи! Есть вещи, о которыхъ надо молчать и послѣ

смерти. Одно ты долженъ сдѣлать для меня: исполнить мою просьбу и потомъ—жить, чтобъ никто не узналъ объ этомъ.

Андреа неожиданно тряхнулъ головой—онъ рѣшился.

— Да? Ты хочешь этого?

Тотъ, кто въ жизни былъ ему братомъ, неповиннымъ передъ нимъ, положилъ ему руку на плечо, и отвѣтилъ:

— Вся жизнь моя свидѣлствуетъ объ искренности моего отвѣта: да, я хочу этого.

Андреа схватилъ его за руки и судорожно стиснулъ ихъ.

— Да будетъ!

Онъ повернулся. Въ тѣни поблескивали стеклянныя бутылочки въ шкафу; на столѣ лучъ рефлектора ослѣпительно сверкалъ на граняхъ хрустала, на стали инструментовъ...

Порывистымъ движеніемъ, быстрымъ и ловкимъ, врачъ пальцами сломалъ герметическіе затворы двухъ скляночекъ, тоненькихъ, какъ стебель тростника, накапалъ изъ каждой понемногу въ вогнутое блюдо, гдѣ уже было налито на палецъ воды, и медленно, стиснувъ губы, этой жидкостью наполнилъ шприцъ. Жидкость, постепенно поднимаясь по стеклянной трубочкѣ, отливала радужнымъ блескомъ, то блѣдно-фіолетовымъ, то красно-желтымъ, но когда дошла доверху, радужный блескъ погасъ.

Тогда врачъ встряхнулъ шприцъ, чтобы лучше смѣшалось содержимое, и дважды внимательно изслѣдовалъ его на свѣтъ. На кончикѣ тонкаго лезвія сверкнула искорка.

Потомъ положилъ шприцъ на край стола и сталъ глядѣть на него.

Глядѣлъ долго, какъ будто былъ одинъ въ комнатѣ, какъ будто неизбежное уже свершилось.

Обреченный медленно приблизился—безъ страха, но медленно...

— Это и есть ядъ?

И дотронулся пальцемъ до шприца.

Онъ говорилъ размѣренно, какъ автоматъ; по губамъ его скользила легкая улыбка.

Врачъ кивнулъ головой въ знакъ подтвержденія и продолжалъ, какъ околдованный, смотрѣть на блестящій шприцъ, наполненный жидкостью, безцвѣтной, безвредной на видъ, прозрачной, какъ вода.

Обреченный медленно обнажилъ лѣвую руку, постепенно заворачивая рукавъ; потомъ отвернулся, какъ-то странно перекосивъ ротъ, и двумя пальцами взялъ шприцъ.

— Что ты дѣлаешь? Что ты дѣлаешь!—инстинктивно крикнулъ Андреа, удерживая его.

Джѳорджіо засмѳялся гортаннымъ, неприятнымъ смѳхомъ, странно похожимъ на тотъ, какимъ Маркуччіо заканчивалъ свою излюбленную пѳсню.

— Смотри: я не дрожу...—сказалъ онъ.

Онъ приставилъ шприць къ рукѳ, изсохшей, желтой, такой жалкой на свѳту; несмотря на его утвержденіе, рука дрожала.

Онъ не видѳлъ этого; Андреа видѳлъ.

— Послушай, Джѳорджіо...

— Какъ это дѳлается?

— Послушай, Джѳорджіо... Джѳорджіо!

— Какъ... это дѳлается?...

— Вотъ какъ.

Онъ выхватилъ у него изъ рукъ шприць и съ гордостью, высоко держа голову, словно говоря передъ невидимыми судьями, вѳско и сильно бросилъ:

— Я!—я долженъ докончить начатое и убить тебя,— не ты. Не ты—а я, своей рукой... Смотри, она тоже не дрожитъ.

Одной рукой онъ сильно захватилъ кусочекъ кожи, другой направилъ шприць. Кожа сморщилась и покраснѳла; всѳ волосы на ней встали дыбомъ, сухожилія напряглись...

Потомъ сдѳлалъ глубокой уколъ и впустилъ ядь...

— Ай!... какъ больно... Ай!... Скажи ей...

Не договоривъ, Джѳорджіо повернулся на каблукахъ и рухнулъ въ обморокъ на полъ, толкнувъ столъ и опрокинувъ лампочку съ рефлекторомъ, которая погасла.

Тотъ, кто былъ въ жизни его братомъ и врагомъ, поднялъ его на руки и перенесъ на кресло.

Потомъ снова зажегъ лампу.

Х.

Зажегъ свѳтъ для того, чтобы взглянуть на свое преступленіе.словно одна изъ тѳхъ заводныхъ куколъ, которыя, по волѳ директора кукольнаго театра, выскакиваютъ изъ-за ширмы и мгновенно обвисаютъ и никнутъ, какъ только подадутъ свою реплику, весь вялый и обвислый, полужелалъ въ глубокомъ креслѳ Джѳорджіо, свѳсивъ голову набокъ, уткнувъ подбородокъ въ подушку; руки его перевѳшивались черезъ ручки кресла, ноги были раздвинуты.

Онъ дышалъ, дышалъ часто и сильно.

Поминутно одна изъ этихъ обвислыхъ рукъ судорожно вздрагивала: сперва подпрыгивала кисть руки, потомъ дрожь подни-

м. лась выше и выше, и, словно отъ толчка, дергалось плечо. Точно такъ же вздрагивали и ноги, и колѣни вгибались внутрь, какъ у разслабленнаго. Прядь волосъ упала на лобъ и въ орбитѣ глаза щекотала сомкнутое вѣко.

Тѣнь кресла и этого безформеннаго тѣла покрывала все освѣщенное пространство пола, поднималась косо къ цоколю стѣны.

Поднявъ шприцъ, выпавшій у него изъ рукъ, когда онъ бросился поднимать падающаго, Андреа Ференто промылъ его и вытеръ, снявъ иголку, взявъ кусочекъ замши и принялся полировать ее, поминутно пробуя тонкое лезвіе на ногтѣ, словно чтобъ удостовѣриться, что оно не сломано. Потомъ долго разглядывалъ его на свѣтъ, щуя глаза, и, наконецъ, положилъ въ кучу другихъ иголокъ, побольше и поменьше, завернутыхъ въ веленевую бумагу, и спряталъ въ шкатулку. Потомъ аккуратно разставилъ всѣ склянки и бутылочки въ шкафу, дотрогиваясь до нихъ съ большою осторожностью, спокойно повернулся, какъ бы окончивъ свой обычный трудъ, и машинально взглянулъ на часы.

Было уже за полночь, но онъ врядъ ли видѣлъ циферблатъ.

Потомъ машинально обошелъ всю комнату, задѣвая за стѣны; остановился у окна, разсѣянно глядя въ темноту; потомъ дошелъ до середины комнаты, гдѣ въ глубокомъ креслѣ лежалъ трагическій фантошъ, и замеръ, какъ прикованный, впившись въ него глазами.

Онъ дышалъ, но дыханіе, хоть и замѣтное, постепенно ослабвало.

Еще разъ взглянулъ на часы, словно считая минуты, остающіяся до наступленія смерти.

Глухой шумъ, то отдалявшійся, то приближавшійся, мѣшалъ ему думать. Онъ приложилъ ухо къ сердцу фантоша и выговорилъ вслухъ, раздѣльно:

— *Бьетъ.*

Хотѣлъ поднять свисшія руки, но прикосновеніе къ его кожѣ было такъ неприятно, что рѣшилъ лучше не трогать его. И обѣ руки снова упали вдоль бедеръ, ударившись о нихъ мягко, словно были въ перчаткахъ. И больше уже не шевелились.

Въ его мозгу кто-то, какъ будто чей-то чужой голосъ, внятно выговорилъ: *гробъ...*

Вначалѣ онъ мысленно только повторялъ это слово: *гробъ*; потомъ ему представился и самый предметъ—длинный деревянный ящикъ; потомъ стало ясно, что въ комнатѣ есть покойникъ, длинное тощее мертвое тѣло, изъ котораго сочится вонючая жидкость, и надо уложить, запрятать его въ этотъ ящикъ.

Мертвое тѣло... о, сколько онъ на своемъ вѣку видѣлъ ихъ, этихъ мертвыхъ тѣлъ!.. Онъ началъ припоминать всѣ трупы, которыхъ онъ касался безтрепетной рукой, разсѣкая ихъ своимъ быстрымъ и вѣрнымъ скальпелемъ,—съ удивительной отчетливостью ему представлялись отдѣльныя фizioноміи...

Ему, медику, мертвецы не внушали страха; въ больницахъ онъ привыкъ разговаривать громко и даже смѣяться иной разъ вблизи покойника. Но тутъ самое названіе *покойникъ* звучало какъ-то дико и странно; въ первый разъ въ жизни ему показалось, что умереть—это много больше, чѣмъ лежать холоднымъ и недвижимымъ.

И, такъ какъ умершій былъ близкимъ ему человѣкомъ, ему вдругъ стало жутко... И почему-то, какъ это иной разъ бывастъ, когда душа наша въ смятеніи и тревогѣ, въ памяти его промелькнулъ образъ лошади, которую онъ видѣлъ однажды, еще студентомъ, въ ветеринарной школѣ.

Это была жалкая, изможденная кляча, съ торчавшими наружу ребрами, больше похожая на скелетъ, чѣмъ на живую лошадь. По всей вѣроятности, извозчикъ продалъ ее за стоимость одной лишь шкуры, потому что ни вожжами, ни кнутомъ, никакими силами нельзя было ее сдвинуть съ мѣста. Школа предназначила ей участь не совсѣмъ обычную: служить объектомъ всевозможныхъ операцій, которыя надлежитъ демонстрировать на практикѣ учащимся. Надъ ея бѣдной кожей, сто разъ разрѣзанной и вновь зашитой, перепробовали всѣ виды хирургическаго лѣченія. За охапку соломы или сѣна, которую ей иногда давали въ періоды выздоровленія, ей вскрывали полость живота, разрѣзывали дыхательное горло, перерѣзывали сухожилія и зрительные нервы, продырявливали ей спину и вставляли туда длинныя трубки, какъ чулочныя спицы втыкають въ клубокъ шерсти; а по окончаніи операціи тщательно зашивали рану и начинали лѣчить...

Ноги у клячи были словно каучуковыя, и на обратномъ пути изъ операціонной въ стойло она раза три-четыре падала на колѣни...

Въ тотъ день, какъ Андреа увидалъ ее, злополучная кляча испустила послѣдній вздохъ во время операціи, и всю жизнь онъ не могъ забыть ужаса и отвращенія, вызванныхъ въ немъ видомъ этой жалкой, издохшей лошади, надъ которой потѣшались ветеринары съ окровавленными скальпелями въ рукахъ.

На мигъ передъ его глазами встала теперъ эта несчастная кляча, съ кожей сплошь въ заплаткахъ, какъ одежда нищаго, умирающая связанной, не въ силахъ даже лягнуть своихъ мучите-

лей, лишь слегка вздернувъ кверху фіолетовую губу, открывшую желтые зубы...

Прислушался.

Джіорджіо еще дышалъ; дыханіе было замѣтное, но слабое.

Кожа на лицѣ его мѣняла цвѣтъ, свѣтлѣла; губы слегка припухали; глаза тоже, хоть и были закрыты.

— Джіорджіо!...

Онъ нарочно, чтобъ испытать себя, попробовалъ произнести это имя—и не выговорилъ, но ему казалось, что выговорилъ... среди пустоты его внутренняго міра это имя было огромной величиной, но теперь оно прозвучало странно, до дикости рѣзко, почти аномально, словно въ пустой пещерѣ.

Ему казалось, что съ начала этого вечера прошла цѣлая вѣчность.

— Чего вы хотите отъ меня?—Ну да!—Ну да, я убилъ его!—кричалъ онъ своимъ невидимымъ судьямъ,—кричалъ лишь мысленно, но ему казалось, что онъ кричитъ на самомъ дѣлѣ. Внутренно онъ какъ бы раздвоился: помнилъ, что убилъ Джіорджіо, и не зналъ, живъ онъ или умеръ; терзался мучительнымъ страхомъ—и былъ спокоенъ, какъ послѣдняя тунница; и ощущение у него было такое, что передъ нимъ человѣкъ, который одновременно и живъ, и мертвъ.

— Да, я убилъ его—вотъ, глядите: этой самой рукой—я—его—да, вотъ этой рукой!—Онъ сидѣлъ неподвижно, а ему казалось, что онъ мечется, кричитъ, грозитъ кулакомъ цѣлому собранію судей, толпѣ враговъ, обступившихъ его со всѣхъ сторонъ.

— Братъ, отвѣтъ *ты* за меня. Встань и отвѣтъ: развѣ не въ правѣ былъ я это сдѣлать?

Трагическая кукла въ креслѣ корчилась, какъ будто внутри ея былъ стержень, позволявшій ей отвинчивать торсъ отъ живота, шею отъ плечъ и перекручивать все это самымъ причудливымъ образомъ. Уста ея теперь смѣялись, на распухшихъ деснахъ выступила пѣна. Во всю длину шеи вздулась толстая жила, натянутая, какъ резина; руки судорожно ловили воздухъ; ноги дрыгали, злобѣще скрипя каблуками. Струйка слюны изо рта текла на пиджакъ—врачъ замѣтилъ это и вытеръ ее.

За стеклами слегка овальныхъ оконъ сіяли звѣзды, словно свѣтящіяся червячки въ кустахъ. Дивная, благоуханная ночь...

„Сколько лѣтъ пройдетъ?...“ — „Лѣтъ, говорите вы?“ — „Да, лѣтъ.“ — „Прежде чѣмъ что?“ — „Прежде чѣмъ ты вернешься къ жизни.“ — „А это что же—развѣ не жизнь?“ — „Нѣтъ, это наважденіе.“ — „Наважденіе?...“

А тотъ другой, врачъ, въ это время выслушивалъ сердце куклы.

И снова судорога пробѣжала по тѣлу фантоша, словно кто-то ударилъ его кулакомъ въ затылокъ, позвоночникъ его изогнулся, какъ на шарнирѣ, а затѣмъ свело и все тѣло. Руки съ сжатыми кулаками тянулись къ колѣнямъ; ноги внезапно выпрямились, вытянулись во всю длину, словно давъ кому-то пинка въ пустотѣ; животъ втянулся подъ ребра, какъ мѣхъ, изъ котораго выжали воздухъ: тѣло все качнулось и перегнулось набокъ; подбородокъ свѣсился косо на грудь...

Словно актеръ, стоявшій за ширмой, такъ рванулъ проволоки, что онѣ сразу всё лопнули, и даже слышно было, какъ. Особенный такой звукъ, непохожій ни на какой другой, отрывистый и слабый, но болѣе внятный, чѣмъ грохотъ металла, беззвучный—и полный всѣхъ тѣхъ звуковъ, изъ которыхъ слагается дыханіе жизни.

Недвижный теперь фантошъ весь вдругъ преобразился, на глазахъ: цвѣтъ его, форма, вѣсъ, весь внѣшній обликъ, атмосфера, окружающая его,—все измѣнилось.

Другой человѣкъ, врачъ, долго держалъ въ рукѣ его руку, сился различить біеніе пульса, котораго не было; потомъ прижался ухомъ къ сердцу фантоша и, вдругъ отпрянувъ назадъ, выговорилъ отчетливо:

— Нѣтъ!

И весь домъ, отъ стѣны до стѣны, отъ подвала до чердака, казалось, вдругъ огласился ненстойвой, бѣшеной пѣснью:

...Я—странникъ, не знающій цѣли, идущій изъ царства умершихъ навстрѣчу далекимъ потомкамъ, чьи души уже отлетѣли...

XI.

Нести на рукахъ трупъ человѣка, убитаго вами, на это не у каждаго хватить мужества, ибо думать о томъ, какъ распорядиться со своею жертвой, вообще что бы то ни было дѣлать съ нею—значить длить настроеніе убійства, которое обыкновенно мимолетно.

Теперь, когда наважденіе разсѣялось, Андреа очутился глазъ на глазъ съ убитымъ: уже не назойливые кошмары, не таинственные голоса и не воображаемая музыка въ большомъ спящемъ домѣ, а логически разсуждающій человѣкъ передъ загромоздившимъ комнату трупомъ.

Крайнимъ напряженіемъ воли, свойственнымъ только хорошо

дисциплинированнымъ людямъ, онъ заставилъ себя отогнать въ самый отдаленный уголокъ мозга навязчивыя мысли и видѣнія, одолѣвавшія его, и всю ясность ума сосредоточить на одной необходимости: скрыть слѣды совершеннаго преступленія и обставить смерть этого человѣка естественно. Нужно было героическое усиліе, чтобы на мигъ убить въ себѣ всякія ощущенія и чувства и жить исключительно мозгомъ; подавить угрызенія, ужасъ, ошеломленіе, страхъ, забыть на время самое имя умершаго, чтобы возсоздать по возможности правдоподобно картину смерти съ его безмолвнымъ и покорнымъ трупомъ.

Прежде всего, надо убрать его изъ этой комнаты, взять на руки и въ темнотѣ, безшумно, перенести по коридору въ спальню и положить на кровать. Все это представлялось Андреа совершенно яснымъ, какъ бы рядъ поступковъ, которые надлежало совершить другому, и онъ энергично приказалъ себѣ: „Повинуйся!“

Мертвецъ лежалъ посрединѣ комнаты; неуклюжая тѣнь его ложилась на стѣну и на полъ; Андреа стоялъ въ этой тѣни, и ему казалось, что она связываетъ его ноги, такъ что понадобилось напрячь мышцы, чтобы отдѣлится отъ нея. Тѣнь, притягивавшая его къ себѣ, державшая его, какъ добычу, была плащомъ, коварно брошеннымъ на землю, чтобы прикрыть его и ужъ не выпустить.

Онъ думалъ о томъ, что надо погасить свѣтъ, чтобы тѣнь исчезла, да и нехорошо, что его окно такъ долго освѣщено—вѣдь изъ сада виденъ свѣтъ. И, съ усиліемъ отдѣлившись отъ нея, словно человѣкъ, ноги котораго вязнуть въ глубокомъ илѣ, подошелъ къ окну—посмотрѣть, достаточно ли будетъ свѣта звѣздъ для того, чтобы сдѣлать то, что надо было сдѣлать, въ темнотѣ.

Разсѣянный лунный свѣтъ озарялъ между деревьями магнолію съ блестящею листвою; надъ мощными вѣтвями слегка покачивались огромные цвѣты, бѣлые и сладострастные, какъ напудренная грудь, словно уснувшіе на лонѣ дремлющихъ водъ.

За стеклами окна не слышно было запаховъ весенней ночи, но аромать цвѣтовъ магноліи, словно фонтанъ, струившихъ въ воздухъ благоуханіе, все же пахнуль ему въ лицо, такой сильный, что у него закружилась голова. Этотъ аромать, и игра луннаго свѣта на листьяхъ магноліи, и вся эта голубая тихая ночь—все это опять-таки были образы вещей, запретныхъ для него, сирены, силящіяся околдовать, манящія предаться сладости забвенія...

— Да,—сказаль внутри его властный голось,—да, свѣтъ погасить можно.

Онъ отошелъ отъ окна къ столу, на каждомъ шагу запинаясь, какъ упрямое животное, и, дотронувшись пальцами до выключателя, замѣтилъ, что рука его нетверда.

— Ты дрожишь.

Неужто это слово, ненавистное ему, онъ теперь примѣнилъ къ себѣ?

— Нѣтъ, не дрожу.

И онъ быстро повернулъ выключатель.

Словно черныя портьеры спускались съ потолка, одна за другой, одна на другую, тяжелыя, огромныя, какъ погребальный покровъ...

Теперь онъ ничего уже не видѣлъ, одинокій, затерянный среди абсолютной тишины, абсолютнаго мрака.

Ледяными пальцами онъ протеръ себѣ глаза—ему казалось, что этотъ пологъ тьмы сгущается въ немъ самомъ, а не вокругъ него... красныя пятна запрыгали передъ глазами, и тогда онъ началъ видѣть—различать окно, чуть голубѣвшее во тьмѣ, высокую бѣлую стѣну, мебель и тѣнь—недвижную темную тѣнь по срединѣ комнаты... И еще увидѣлъ—нѣчто ужасное: лицо трупа на спинкѣ кресла, судорожно перекошенное не то смѣхомъ, не то рыданіемъ.

И тутъ впервые сердце его, то замиравшее, то бившееся съ невѣроятной быстротой, познало страхъ. Онъ отшатнулся въ ужасъ, машинально нащупывая рукой источникъ свѣта.

— Ты дрожишь! Ты боишься!—саркастически кричалъ въ немъ злобный голосъ.

— Нѣтъ.

Онъ напрягъ всѣ мускулы, выпрямился, словно услышавъ вызовъ. Въ кончикахъ пальцевъ и въ вискахъ его стучала кровь; комната вся ходуномъ ходила подъ ногами.

Но онъ все же заставилъ себя вторично посмотрѣть на эту конвульсивную улыбку, пугавшую его, и выдержалъ испытаніе.

Теперь онъ уже видѣлъ, что это не смѣхъ, а судорога, въ которой было что-то и злобное, и вмѣстѣ съ тѣмъ инертное. И разсуждалъ съ самимъ собой, чтобъ подбодрить себя:

— Это мертвецъ, какихъ я видѣлъ сотни... прахъ и тлѣнь... безчувствіе, безмолвіе, конецъ...

Но ему казалось, что это не такой же мертвецъ, какъ тѣ, другіе, не клочекъ бездушнот матеріи, что онъ не молчитъ и для него не все еще кончено.

Привыкшіи обособлять работу мозга отъ обмановъ чувствъ, онъ убѣждалъ себя, приводилъ доводы:—Это ты самъ, твои взволнованныя чувства придають ему видимость жизни. Но это все же—мертвая матерія, безъ всякихъ возможностей проявить себя, и бояться ея нечего.

По аналогіи ему представилась опять сардинская кляча, пздохшая во время операціи, и рядомъ хохочущіе ветеринары.

— Берегись!—предостерегъ его внутренній голосъ.—Время бѣжить.

У него, дѣйствительно, было нематеріальное ощущение чего-то непрерывно текущаго, убѣгающаго—Времени, и такимъ ничтожнымъ показалось ему вдругъ это преступленіе, не смогшее даже и на одинъ мигъ задержать его бѣга.

Бдительный, настороженный, онъ подошелъ къ двери и прислушался; повернулъ ключъ въ замкъ, осторожно, чтобы не щелкнула пружина, чуть пріотворилъ дверь и прислушался. Струйка воздуха, проникшаго въ щель, тихонько шумѣла у него въ ухѣ; но больше никакихъ звуковъ въ спящемъ домѣ не было, кромѣ тѣхъ, неуловимыхъ и неопредѣленныхъ, которые говорятъ о присутствіи въ домѣ живыхъ существъ.

Онъ вышелъ въ коридоръ, дошелъ до площадки лѣстницы—и почти радостно расправилъ члены и вздохнулъ полной грудью, какъ вздыхаетъ человѣкъ, котораго начали душить и вдругъ отпустили.

— Осторожнѣй!...—шепнулъ онъ самому себѣ... сапоги...

Сапоги поскрипывали чуть-чуть, но ему казалось, что очень громко. Медленно, осторожно онъ добрался до двери комнаты Джіорджіо и безшумно отворилъ ее настежь, чтобы путь былъ свободенъ, когда онъ вернется съ трупомъ. Подошелъ къ кровати—посмотрѣть, какъ надо положить покойника, и, когда увидѣлъ на подушкахъ и матрацѣ глубокую впадину, оставленную тѣломъ больного, ему показалось, что онъ уже держитъ на рукахъ мертвеца и ощущаетъ его тяжесть, и холодокъ пробѣжалъ по его жиламъ.

Онъ отвернулъ одѣяло и неслышно вернулся тѣмъ же путемъ, крадучись вдоль стѣны, какъ воръ, удерживая дыханіе, настороженный и пугливый.

— А если кто-нибудь выйдетъ въ коридоръ въ то время, какъ я буду идти съ моей ношей?

— Торопись!—скомандовалъ голосъ.—Скорѣй!

Снова вошелъ въ комнату, гдѣ лежалъ мертвецъ, почти ожидая найти въ ней переѣзду, готовый предположить самое нелѣ-

пое, самое невѣроятное—что мертвеца въ ней больше нѣтъ. Но онъ лежалъ попрежнему, нанкось поперекъ кресла, голову откинувъ на подушку, свѣсивъ руки съ стиснутыми кулаками, раздвинувъ ноги, сближенные въ колѣняхъ. Ужась! И это жалкое тѣло, казалось, такъ давно уже умершее, ему надо взять на руки, прижать къ своей груди и нести... какой ужась!...

Попробоваль подойти—и отшатнулся назадъ, словно противясь невидимой рукѣ, толкавшей его къ мертвенцу.

Но во-время вспомнилъ, что его сапоги скрипятъ, снялъ ихъ и ощупью нашель возлѣ кровати войлочные туфли. Теперь все было готово... но вдругъ ему показалось, что онъ никогда не сможетъ пройти этого коротенькаго разстоянія, отдѣлявшаго кресло отъ кровати... Шире раскрылъ глаза—и почувствовалъ въ зрачкахъ ощущеніе холода... Думалъ: а что, если у него нехватитъ мужества, если въ рукахъ его нехватитъ силы поднять эту тяжесть?... Бездна изумленія и ужаса разверзлась въ его душѣ.

— Такъ, значитъ, есть такое, на что я не могу дерзнуть?— Не можетъ быть!—Ты, не вѣрящій въ божественность смерти, неужели же ты не посмѣешь сдѣлать то, что дѣлаетъ всякій могильщикъ, и струсишь, какъ баба? Что тебѣ мѣшаетъ поднять его? Сверхъестественныя силы? Сверхъестественнаго нѣтъ на свѣтѣ... Впередъ!

Впередъ!—приказываль онъ подгибавшимся колѣнямъ, непослушнымъ ногамъ въ войлочныхъ туфляхъ и еще настойчивѣй—сердцу, которое колотилось въ груди.

— Ты губишь себя и ее... Кого?—Ее.

Онъ представилъ ее себѣ спящей, въ постели, съ разметавшимися роскошными косами... А можетъ быть, она не спитъ сейчасъ и сидитъ на кровати, закрывъ руками лицо, и, въ свою очередь, думаетъ о томъ, что ей надо убить себя...

— Впередъ! Это необходимо.

Но какъ онъ ни вбиваль себѣ въ мозгъ это слово, ощущенія необходимости не получалось. Ему казалось, что онъ идетъ, а онъ стоялъ на мѣстѣ; казалось, что онъ наклоняется надъ трупомъ, поднимаетъ его и отъ ужаса пятится назадъ—а онъ стоялъ, не двигаясь. Въ то время какъ мозгъ его напрасно силился справиться съ ослабѣвшей волей, ему почудился шумъ.

Онъ вспомнилъ о раскрытыхъ дверяхъ, и физическій инстинктъ самозащиты сразу подбодрилъ его.

Онъ мгновенно нагнулся надъ мертвымъ... но зубы его скрежетали, руки не гнулись, висли, словно свинцовыя, въ каждомъ позвонкѣ спинного хребта сверлила острая боль.

Тѣмъ не менѣе онъ твердилъ себѣ:

— Или перенесу его туда, или умру.

Продвинулъ въ дверь сначала голову покойника, потомъ его туловище... въ коридорѣ идти будетъ ужъ легче...

— Такъ, такъ...

Каблуки мертвеца больно били его по ногамъ, острый локоть вѣзвался въ бокъ. Онъ не зналъ, медленно или быстро онъ идетъ, но коридоръ казался ему безконечнымъ, и онъ никакъ не могъ найти двери. Однако, въ концѣ-концовъ, увидѣлъ слабый свѣтъ, проникавшій въ коридоръ изъ комнаты больного.

— Такъ, такъ...

Въ дверь просунулъ сперва ноги, потомъ туловище; кое-какъ положилъ тѣло на кровать и поскорѣй вернулся запереть дверь. Ему вдругъ стало весело; захотѣлось даже пошутить надъ собой, надъ своимъ побѣжденнымъ страхомъ; онъ дотронулся сперва до одной своей руки, потомъ до другой, потомъ до лба, слегка вспо- тѣвшаго.

— Спасень!

— Нѣтъ еще,—подсказалъ голосъ.—Надо раздѣть его.

Да, надо—надо придать смерти такой видъ, какъ будто Джорджю умеръ тихо, въ своей постели.

— Раздѣнь его.

— Да, раздѣваю. Смотри; теперь это легко.

Мертвецъ лежалъ наискось поперекъ кровати, такъ что ноги его свѣшивались. Андреа сталъ на колѣни и стащилъ съ него ботинки, неспѣша, какъ будто торопиться было некуда, затѣмъ снялъ и чулки и положилъ то и другое, аккуратно сложеннымъ, на обычное мѣсто.

И раздѣвавшій его, теперь ужъ безъ страха, медлилъ, приглядываясь къ этому угасшему мужскому естеству и вызывая передъ собой образъ женщины, которой обладалъ покойникъ. И ему казалось, что она стоитъ въ углу, безмолвная, и раздѣвается донага, чтобы во всей своей красѣ присутствовать при эпилогѣ ихъ человѣческой трагедіи.

Эта мысль испугала и ужаснула настолько, что, утративъ представленіе о времени, онъ сталъ дѣлать все медленно и осторожно, какъ будто можно было медлить. И все время тщательно провѣрялъ себя, какъ бы чего не забыть, какъ бы не оставить въ комнатѣ Джорджю чего-нибудь такого, чего тамъ обыкновенно не бывало и присутствіе чего трудно было бы объяснить.

Особенно трудно было снять пиджакъ; руки мертвеца не

только остылл уже, но и успѣли окоченѣть, и большихъ усилій стоило вынуть ихъ изъ рукавовъ.

Это взяло много времени, и онъ чуть было не разорвалъ материю, но когда мертвый остался, наконецъ, въ одной сорочкѣ, Андреа снова вздохнулъ съ облегченіемъ—страшная работа, казалось, идетъ къ концу. Теперь оставалось только укрыть его одѣяломъ и придать постели такой видъ, какъ будто Джіорджио умеръ на ней.

Но внутренній голосъ все время твердилъ ему: „Слѣди! Слѣди! Не забудь по разсѣянности о какой-нибудь мелочи, которая такъ часто служить ключомъ къ разгадкѣ самыхъ запутанныхъ преступленій“. И не безъ труда, почти физическимъ усиліемъ, онъ заставлялъ вниманіе свое сосредоточиваться только на этомъ одномъ, въ то время какъ мысли его разбѣгались.

Онъ подошелъ къ окну, чтобы рассмотреть пиджакъ на свѣту, не осталось ли на немъ какого-нибудь отпечатка, волоска, пятна слюны, чужого запаха,—все могло оказаться уликой. Поворачивалъ его со всѣхъ сторонъ, смотрѣлъ, нюхалъ; отъ пиджака шель легкой запахъ камфоры, ничего больше... Андреа сталъ соображать, гдѣ больной обыкновенно держалъ этотъ пиджакъ.

— Въ шкафу, кажется... ну да, въ шкафу... и складывалъ, не вѣшалъ на крючокъ... Развѣ не помнишь?... Вѣрно... такъ.

Сложилъ пиджакъ наизнанку, рукавами внутрь, пригладилъ посрединѣ и положилъ въ шкафъ, на ту самую полку, гдѣ столько разъ видѣлъ его...

Замѣтилъ, что тяжело дышать, и принялся тихонечко насвистывать сквозь зубы, словно чтобы подбодрить, убѣдить себя, что то, что онъ дѣлаетъ, вполне естественно.

Заперъ дверцы шкафа и оглядѣлся: больше дѣлать было нечего; оставалось только уложить мертвеца въ постель. Прижимая руку ко лбу, онъ силится представить себѣ, какимъ бы онъ нашель Джіорджио утромъ, войдя къ нему, если бы тотъ, дѣйствительно, умеръ ночью. И отчетливо представить не могъ. Тогда началъ припоминать другихъ покойниковъ, которыхъ онъ видѣлъ при такихъ же обстоятельствахъ. Одно за другимъ выплывали передъ нимъ позабытыя лица труповъ...

„Люди умираютъ такъ разно...“—думалъ онъ. Но раздумывать казалось ему бесполезнымъ: медлить дольше было невозможно.

Подошелъ къ кровати, и такъ какъ одѣяло было уже отвернуто наполовину, безъ труда вытащилъ его изъ-подъ трупа и отвернулъ совсѣмъ. Взялъ подушки; потомъ взялъ покойника

за ноги и переложилъ ихъ на постель. Голова мертвеца уткнулась въ подушки; тогда онъ приподнялъ туловище и снова бросилъ его, чтобы голова приняла естественное положеніе. Затѣмъ взялъ обѣ руки, и не зналъ, какъ положить ихъ: пробовалъ на разные лады, все выходило неестественно.

Наконецъ, подумалъ, что лѣвая должна отодвигать одѣяло, правая же—тянуться къ горлу, словно борясь съ удушьемъ.

Увидѣлъ на ночномъ столикѣ часы съ блестящей золотой цѣпочкой, и тутъ только замѣтилъ, что они не переставали тикать, а раньше не слышалъ этого. Въ стеклянномъ графинѣ блестяла прозрачная вода; при видѣ воды ему захотѣлось пить.

— Прощай!—мысленно выговорилъ онъ, самъ не зная, зачѣмъ, самъ не зная, какъ пришло ему на умъ это слово. И это маленькое словечко кольнуло его въ сердце острой болью, и ему показалось вдругъ, что онъ не можетъ покинуть усопшаго, потому что теперь онъ уже не боялся его, а любилъ.

Передъ нимъ былъ снова прежній его другъ и братъ, который звался Джіорджіо, не убитый его рукой, а умершій, лежащій на смертномъ одрѣ.

Самъ не зная, зачѣмъ, положилъ ему руку на холодный лобъ и уже не мысленно, а губами выговорилъ:

— Покойся въ мирѣ.

Луна, достигшая высшаго предѣла своего пути, заливала всю комнату голубымъ свѣтомъ, и на одѣялѣ лежалъ свѣтлый кругъ.

ХІІ.

Отъ комнаты Джіорджіо до той, гдѣ совершилось убійство, путь былъ не дологъ, но пока Андреа прошелъ его, его преступленіе успѣло отойти для него въ область прошлаго, превратиться въ далекое воспоминаніе. И когда онъ увидѣлъ кресло, такъ и оставшееся посрединѣ комнаты, это кольнуло его въ сердце непредвидѣнной реальностью, такъ ошеломило, что онъ сразу рѣшился войти.

— Я—Андреа Ференто,—разсказывалъ онъ самому себѣ,—человѣкъ, у котораго на совѣсти убійство,—человѣкъ, который отнынѣ долженъ будетъ жить неразлучно съ памятью свершеннаго.

— Ну, такъ что же?—отвѣчала онъ самъ себѣ.—Жизнь идетъ своимъ чередомъ; неизблемый порядокъ вещей не нарушенъ. Только земля поглотитъ однимъ громомъ больше. Твой путь теперь свободенъ. Иди.

Ему часто случалось такъ бесѣдовать съ самимъ собой, какъ

бы ведя споръ между двумя несогласными, съ цѣлью выяснить, кто изъ нихъ правъ.

Путь свободенъ... Да, повидимому,—очищенъ отъ препятствій, легкокъ и лучезаренъ. Теперь нужно только устранить ближайшее препятствіе—вотъ это кресло, которое загораживаетъ дорожку, отбрасывая отъ себя такую причудливую тѣнь, эту мебель изъ дерева и кожи, какъ будто еще держащую въ своихъ опустѣвшихъ объятіяхъ невозможный кошмаръ, призракъ убитаго. Нужно прежде всего снять съ этой бездушной вещи всякій налетъ трагизма, толкнуть ее ногой на ея обычное мѣсто, чтобы она снова стала служебной вещью, безмолвной и послушной. Вообще, не слѣдуетъ приписывать ни этой „вещи“, ни другимъ своимъ собственнымъ, человѣческими переживаніямъ, надѣлать собственнымъ голосомъ нѣмую матерію, населять пустое пространство призраками, зародившимися въ собственномъ мозгу.

— Отнынѣ,—говорилъ онъ себѣ,—у меня можетъ быть одинъ лишь врагъ: я самъ. И потому мнѣ необходимо зорко слѣдить за собой и обращаться съ собою, какъ съ опаснымъ противникомъ. Ты—не ничтожество, вѣчно непоследовательное и колеблющееся: путь свободенъ, иди!

И, взявшись за ручки кресла, онъ сердито отодвинулъ его въ тотъ уголокъ, гдѣ оно обыкновенно стояло, объемистое и благодушное, готовое принять на отдыхъ усталаго. Затѣмъ, ощутивъ потребность вздохнуть полной грудью, распахнулъ окно.

Въ его душѣ всталъ образъ той, кого онъ любилъ, вѣнецъ его грѣха.

Въ его душѣ она была поистинѣ царицей и единственной: выше всего, выше даже отрицанія. Если вся его жизнь, гордая, властная, посвященная умственному труду, говорила противъ такой беззавѣтной самоотдачи, если холодный умъ его могъ улыбаться надъ этимъ маленькимъ словечкомъ: *любовь*, то другая душа, сидѣвшая въ его душѣ, другое сердце въ его сердцѣ дали ей побѣдить себя, не мало-по-малу, не крадучись, но сразу, и не со страхомъ, но съ радостью, съ восторгомъ блаженства.

Въ мозгу ясно и отчетливо встала увѣренность:

— *Она моя.*

Этотъ трагическій вечеръ соединилъ ихъ неразрывно. Онъ можетъ, долженъ теперь же, безотлагательно сказать ей, что ничто больше не стоитъ между ними и долгожданымъ счастьемъ. Да и помимо того надо позвать ее, чтобы вмѣстѣ просидѣть эту долгую ночь, вдвоемъ, безмолвно прижавшись другъ къ другу, въ сосѣдствѣ смерти, при свѣтѣ звѣздъ.

Весь этот день онъ такъ враждебно относился къ ней, что она, навѣрно, не посмѣетъ сама прійти къ нему, какъ въ предъидущія ночи, когда больной уснетъ, или иной разъ на разсвѣтѣ.

— Надо позвать ее.

И онъ отошелъ отъ окна.

Но его волновала мысль, что онъ найдетъ ее въ постели, раздѣтой; казалось невѣроятнымъ, что онъ еще когда-нибудь увидитъ ее, будетъ говорить съ ней, главное—скажетъ ей то, что сказать необходимо. И все же онъ дошелъ до ея двери, отворилъ ее,—она тотчасъ проснулась и повернулась въ постели.

— Ты спишь?—сдавленнымъ голосомъ шепнулъ онъ.

— Это ты, Андреа? Я только что уснула.

— Встань!

Въ его голосѣ она разслышала что-то необычное.

— Почему ты стоишь въ дверяхъ? Войди.

Онъ повиновался и перешагнувъ порогъ, но дальше не пошелъ. Приподнявшись на подушкахъ, она рукой поманила его къ себѣ.

— Что случилось?

— Ничего.

— Ему худо?

— Кому?

— Да... Джіорджіо.

Онъ отвѣтилъ не сразу и отвѣтилъ однимъ только словомъ:

— Вставай.

Она откинула одеяло, спустила съ кровати бѣленькія ножки, ища нмн туфель на коврѣ.

— Мой халатикъ... дай мнѣ мой халатикъ, онъ тамъ, на вѣшалкѣ,—попросила она, чтобы не встать въ одной рубашкѣ.

Тутъ только Андреа увидѣлъ халатикъ, снялъ его и подаль ей, но вмѣсто того, чтобы одѣть ее, ему захотѣлось сжать ее въ объятіяхъ, покрывая бѣшеными поцѣлуями. Но этого онъ не сдѣлалъ. Молодая женщина накинула на себя халатикъ и, тревожно глядя на него, допытывалась:

— Что съ тобою? Что случилось?

— Идемъ!—сказалъ онъ, поворачиваясь къ двери.—Идемъ.

Легкой поступью, чуть шелестя шелкомъ,—но въ тишинѣ и этотъ шелестъ казался громкимъ,—она шла за нимъ по коридору и вслѣдъ за нимъ вошла въ его комнату; онъ заперъ дверь.

Здѣсь было свѣтлѣе, и она испугалась, увидѣвъ его лицо, мертвенно блѣдное, съ расширенными зрачками, такъ сильно измѣнившееся, словно передъ нею былъ другой человѣкъ. Въ ужасѣ схватила его за руку:

— Что съ тобой? Что съ тобой?

Онъ хотѣлъ улыбнуться, но вмѣсто улыбки вышла гримаса...

До сихъ поръ онъ былъ одинъ, и такъ странно было имѣть передъ собой живого свидѣтеля. Какъ разнo звучало слово „умеръ“ въ безмолвіи его собственной души и теперь, когда надо было сказать его вслухъ другому, какъ вѣсть о непоправимомъ.

„Умеръ“—два быстрыхъ слога, пять буквъ азбуки, а сколько въ нихъ значенія! Слово, ничѣмъ не отличающееся отъ другихъ, когда оно—только образъ, но холодное, тяжелое, рѣшительное, когда оно сказано о трупѣ, когда оно опускается, какъ подстрѣленное крыло...

— Что съ тобою, милый? Скажи, не пугай меня.

И въ этомъ голосѣ былъ тотъ же аромать духовъ, то же дыханіе соблазна. Какъ нѣжно очерчены губы, влажно-алыя, и въ волосахъ, и во всей фигурѣ, отъ головы до ногъ, какое страшное обаяніе, сколько нѣги, сколько сладострастія!...

— Теперь она моя.

Эта мысль опьянила его, пробѣжала въ его жилахъ приливомъ новыхъ силъ, застучала въ виски побѣдной музыкой, брызнула свѣтомъ изъ глазъ.

Онъ въ обѣ руки взялъ ея лицо и нагнулся надъ нею, словно гипнотизируя:

— Осторожнѣй. Не кричи... случилось ужасное... смотри же: будь осторожна...

И, отчеканивая каждый слогъ, выговорилъ:

— Мужъ твой умеръ.

И, еще не договоривъ, прижалъ ея лицо къ своей груди, а другой рукой, какъ плащомъ, накрылъ ея голову, чтобы заглушить крикъ.

Но услышалъ только легкій хрипъ, какъ у человѣка, которому нечѣмъ дышать, и отпустилъ; и тотчасъ же, нагнувшись къ ея уху, медленно, размѣренно повторилъ:

— Онъ умеръ; я нашелъ его на постели... мертвымъ.

Она отшатнулась, и на мигъ всѣ линіи ея лица застыли, словно въ безмѣрномъ изумленіи; потомъ инстинктивно отошла отъ него дальше въ глубину оконной ниши, ударившись объ оконную раму, но не вскрикнула.

Позади нея кроткое зеркало стекла отразило красивый абрисъ ея затылка, темный узелъ волосъ, казалось, искрившихся въ лунномъ свѣтѣ. Между ними осталось свободное пространство—необходимая грань въ этотъ моментъ, когда души ихъ отделились одна отъ другой.

И вдругъ, она вся задрожала, бормоча, какъ въ бреду, безсвязныя слова, сиюсь повторить фразу, которая не выговаривалась, вникнуть въ ея смыслъ, уяснить испуганной душѣ страшную правду.

— Умерь... умерь...

Когда онъ ей сказалъ о смерти Джіорджио, первымъ ея движеніемъ было отстраниться отъ него, первымъ отвѣтомъ — слезы. Значить, она огорчена? Значить, она не хотѣла, чтобъ мужъ ея умеръ?... Ея глаза не вспыхнули радостью. Нѣтъ, первое, что она сказала, было: „Не можетъ быть. Неправда“... Это было все равно, что попытка оживить умершаго... а отъ него, отъ Андреа, она отстранилась, словно инстинктивно ужаснувшись прикосновенія къ рукѣ убійцы...

Или, можетъ быть, она просто растерялась въ первый моментъ, не поняла, и ей нужно время, чтобъ повѣрить, чтобъ усвоить себѣ значеніе этихъ двухъ жестокихъ словъ: *онъ умеръ?*...

Она, дѣйствительно, не поняла, или, вѣрнѣе, была слишкомъ ошеломлена. Но теперь, чтобы понять, представила себѣ Джіорджио недвижнымъ, похолодѣвшимъ, вытянутымъ на кровати... никогда больше онъ не шевельнетъ рукой, чтобъ позвать ее, никогда больше не скажетъ: Новелла...

И, представивъ, испугалась, и снова придвинулась къ милому, схватила его за руку ледяной рукой, словно ища защиты въ его силѣ.

— Почему онъ умеръ? Почему?... — лепетала она.

Она не сумѣла выразить своей мысли: хотѣла спросить: Какъ? Когда? Давно ли? Отчего онъ умеръ? И сейчасъ же поправилась: — Гдѣ? — и пугливо прижалась къ нему, словно боясь, что мертвый здѣсь, близко, и можетъ увидѣть.

Андреа пояснилъ коротко и спокойно:

— Я вошелъ — вижу, онъ лежитъ на кровати; окликнулъ — онъ не отозвался; дотронулся до него — онъ холодный...

— Нѣтъ! — вскрикнула она, но уже по-другому... И отъ ея груди пахло на Андреа запахомъ ея кожи и духовъ.

Сама не зная, почему, она почувствовала, что не надо никому говорить объ этомъ, надо молчать, не будить никого до утра и сохранить между ними двумя эту страшную тайну... Но едва почувствовала, какъ стала заставляя себя думать какъ разъ обратное — что надо всѣхъ созвать, поднять на ноги домъ.

— Папочкѣ надо... — начала было она.

Но онъ крѣпко сдавилъ ея плечо: — Нѣтъ, молчи!

— Почему?

Не зная, что отвѣтить, онъ сказалъ:— Подождемъ.

Теперь она уже не плакала; только дрожь пробѣгала по всему ея тѣлу, отъ пятокъ до затылка, и комокъ въ горлѣ то расплывался, то давилъ и тѣснилъ дыханіе. Сообразивъ, что этотъ запретъ можетъ ей показаться страннымъ, Андреа началъ объяснять, почему лучше подождать.

— Потому мы позовемъ ихъ, но сейчасъ я такъ ошеломленъ, что не могу ни съ кѣмъ говорить, кромѣ какъ съ тобой. Да и ты сама...

— Да, да, и я...— поддакнула она, обрадовавшись, что они заодно и въ этомъ.

Но ему и это объясненіе, все-таки, казалось недостаточнымъ, и онъ добавилъ:

— Я хотѣлъ первой сказать тебѣ, чтобы завтра утромъ, когда всѣ придутъ, мы были подготовлены, а то мы...

— Да, да, ты правъ.

И тутъ въ ея глазахъ блеснула тотъ лучъ радости, котораго онъ напрасно ждалъ въ первую минуту, и она крѣпче сжала его руку. Только теперь она смогла заглянуть дальше этой смерти...

Еще крѣпче прильнула къ нему, шепча:

— Мнѣ страшно...

Онъ поцѣловалъ ее въ лобъ чистымъ поцѣлуемъ ободренія и покровительства, любовно, но безстрастно, чтобы ласка не показалась ей грѣховной.

Новелла закрыла глаза и задумалась. Въ ея думахъ смерть уже прошла мимо, стала далекимъ словомъ, безшумно удаляющимся летомъ черныхъ крыльевъ. Она не отдавала себѣ отчета въ томъ, что теперь она свободна и вольна цѣликомъ отдаться любви, но ей казалось, что другая женщина, похожая на нее, сестра ея души, уже живетъ въ пьянящей атмосферѣ безграничной свободы, и въ ея запуганномъ сердцѣ начинаетъ биться другое, вольное и радостное.

Она знала, что нехорошо имъ стоять такъ, обнявшись, и нѣжному тѣлу ея было больно отъ вдавливавшегося въ него сильнаго плеча, но не могла оторваться—только его прикосновеніе защищало ее отъ страха; и онъ, въ свою очередь, не могъ ни оттолкнуть ее, ни какимъ-либо движеніемъ нарушить эту слишкомъ сладостную близость.

Ему казалось, что между ними всегда будетъ стоять этотъ мертвецъ, въ смерти котораго повиненъ только онъ одинъ, который вѣчно будетъ лежать только въ его сердцѣ. Онъ почти винилъ ее за то, что она такъ прекрасна и остается женщиной для

него и возлюбленной даже въ этотъ страшный часъ, что запахъ ея живаго тѣла вытѣсняетъ тошнотворный запахъ трупа—воображаемый запахъ, который онъ тѣмъ не менѣе временами ощущалъ совершенно явственно. И для него тоже ступевывались грани и различія: ея нагое тѣло облекалось въ погребальный саванъ, и образа мертвеца онъ никакъ не могъ отдѣлать отъ ея соблазнительной наготы.

За все время, что онъ любилъ ее, онъ не зналъ ревности, ни разу не подумалъ, что она можетъ оторваться отъ него, уйти къ другому; но теперь, когда онъ сталъ убійцей, онъ понималъ, что это можетъ вырвать ее изъ-подъ его власти, вызвать въ ея душѣ непредвидѣнную враждебность къ нему—даже, если она не будетъ знать—просто потому, что *это было*, и, представивъ себѣ, что ее можетъ взять другой мужчина, содрогнулся отъ страха и ярости.

Подъ вліяніемъ этой мысли онъ привлекъ ее къ себѣ, какъ бы охраняя, такъ близко, что почувствовалъ на губахъ теплоту ея губъ. Нѣжная, пышная грудь прижалась къ его груди; молодая женщина откинулась назадъ, тяня его къ себѣ; ея медлительныя руки переплелись въ усталый и крѣпкій узелъ на его затылкѣ...

— Ты...—заговорилъ онъ, какъ бы ища спасенія въ словахъ,—ты понимаешь, что случилось?

Она отвѣтила только: „Молчи“, и опустила рѣсницы, словно не смѣя изъ суевѣрія говорить о такомъ огромномъ счастьѣ, чтобъ не спугнуть его. Но тотчасъ же раскаялась въ своемъ молчаніи.

— Я только сейчасъ поняла—не тогда,—теперь, когда ты обнял меня...

— Ты любила его?

— Да, какъ бѣднаго друга—какъ покорная рабыня... Развѣ ты не знаешь?

Онъ молчалъ; лобъ его мрачно нахмурился.

— А ты?—спросила она, помолчавъ.

— Что я?

— Ты любилъ его?

Онъ выпрямился, какъ бы обуздывая стальнымъ мундштукомъ непокорную волю, и воскликнулъ порывисто, рѣзко:

— Нѣтъ! Я ненавиждѣлъ его.

Она вся содрогнулась, словно отъ поцѣлуя сзади, въ шею.

— Какъ ты думаешь: онъ очень страдалъ?

— Совсѣмъ нѣтъ или очень мало; лицо у него было спокойное.

И тутъ онъ ей представился мертвый, недвижный, но спокойный, только чуть искривлены болью углы рта, чуть вспухли сомкнутыя вѣки... Смерть казалась ей лишь безмѣрной усталостью, и въ первый разъ, съ того момента, какъ ей сообщили о смерти мужа, она увидѣла его лицо...

Она сразу поняла, что она тоже не любила его.

И вдругъ, словно подчиняясь чужой волѣ, сказала:

— Пойдемъ посмотримъ на него.

— Да?... Ты хочешь?...—растерянно пробормоталъ онъ.

Но тотчасъ же подумалъ, что надо въ послѣдній разъ удостоверить въ свершенномъ и на ней, болѣе надежной, чѣмъ прочіе, проверить впечатлѣніе, которое будетъ вынесено другими.

— Пойдемъ, — рѣшительно сказалъ онъ; но не тронулся съ мѣста.

— Да...—отвѣтила она, тоже не двигаясь и глядя на него широко раскрытыми глазами.

Сдѣлавъ надъ собой усиліе, онъ взялъ ее за руку, и они молча пошли.

— Тише,—говорилъ онъ ей.—Не надо будить другихъ.

Она совсѣмъ безшумно шла за нимъ, почти закрытая его крупной фигурой, но ему надо было сказать это, чтобы механическимъ усиліемъ побѣдить упрямую волю.

У нея шумѣло въ ухахъ; ночь казалась наполненной звуками. Согнувшись, прижимаясь другъ къ другу, держась за руки и поминутно вздрагивая отъ страха, они, какъ воры, крались вдоль стѣны, то и дѣло останавливаясь и прислушиваясь; плечи ихъ съеживались, колѣни дрожали.

Краткое разстояніе показалось имъ за долгій путь; чѣмъ дальше они шли, тѣмъ больше хотѣлось вернуться. Возлѣ нея и онъ чувствовалъ себя менѣе сильнымъ. И, все же, тащилъ ее за собой—или ему казалось, что тащить, а она уширалась...

— Андреа...

— Что съ тобой?

— Не пойдемъ.

Они были уже у двери.

— Почему?

Она не отвѣтила, не смѣя въ темнотѣ ни прижаться къ нему, ни отстраниться отъ него.

— Ты тоже дрожишь...

— Я?... Нѣтъ. — Онъ напрягъ мускулы, заставляя себя не дрожать.

— Не надо отворять...

— Нѣтъ, надо!

Онъ повернулъ ручку двери.

Въ первый моментъ они увидѣли только голубоватый лунный свѣтъ, заливавшій пріютъ смерти какимъ-то нездѣшнымъ сіяніемъ... Потомъ, не сразу, разглядѣли кровать и на ней откинутае назадъ лицо, которое, казалось имъ — такъ они боялись этого — повернулось и посмотрѣло на нихъ.

— Не подходи къ нему! — испуганно пролепетала она. — Я не могу...

Но онъ, передъ лицомъ свершеннаго, вновь обрѣлъ свое мужество и подошелъ къ кровати, увлекаая за собою Новеллу.

Луна заливала умершаго и все его ложе словно бѣлымъ электрическимъ свѣтомъ. Онъ казался не только мертвымъ, но лежащимъ на свѣтящемся катафалкѣ и холоднымъ отъ этого ледяного свѣта, странно родственнаго цвѣту его кожи, холоду его мертваго тѣла.

— Смотри, какъ онъ спокоенъ.

Но она не отвѣтила, можетъ быть, и не слышала, вся застыла въ жуткомъ созерцаніи; дыханіе ея остановилось, сердце перестало биться.

Андреа хотѣлъ заговорить съ Новеллой, но въ головѣ не было ни одной мысли. Хотѣлось сѣсть въ ногахъ кровати и стеречь мертвеца, въ ожиданіи чего-то непредвидѣннаго, можетъ быть, наптія, которое снизойдетъ на него, возлѣ усопшаго. Только теперь онъ замѣтилъ, какъ онъ страшно усталъ, физически клоуило ко сну — уснуть навѣкъ, все забыть...

Она стояла между нимъ и мертвымъ, поникнувъ головой, сложивъ руки крестомъ на груди, такъ что пальцы приходились подъ подбородкомъ. Потомъ протянула руку, словно хотѣла дотронуться до него, но дотронулась только до одѣяла, и тотчасъ же отдернула руку.

— Джорджію... — выговорила она, не окликаая его, но словно убѣждая себя, что это именно онъ, не кто другой.

Ей хотѣлось, несмотря на присутствіе другого, нѣжно, какъ сестра, проститься съ усопшимъ, сказать ему ласковое слово, ласково прильнуть губами къ его лбу. Теперь ее терзали угрызения, хотѣлось плакать о немъ, — такъ, чтобъ онъ видѣлъ ея горе, хоть онъ и не можетъ видѣть, сказать ему, хоть онъ и не услышитъ:

„Бѣдный, бѣдный другъ мой... можешь ли ты простить мнѣ?... Нѣтъ, нѣтъ, ты не можешь простить...“

Ей вспомнилось, что они расстались безъ прощальныхъ словъ,

безъ поцѣлуя, не обмѣнявшись довѣрчивымъ признаніемъ, не сказавъ ни одного изъ тѣхъ значительныхъ словъ, которыя дѣлаютъ смерть менѣе мрачной—и для того, кто умираетъ, и для того, кто видить умирающее. Вспоминалось, что онъ былъ добръ, что онъ былъ боленъ, что этотъ бѣдный, больной и грустный человѣкъ любилъ ее, какъ никто въ мірѣ и, какъ никто въ мірѣ, страдалъ изъ-за нея. Вспоминалось его необычайное терпѣніе и безнадежная любовь, свѣтившаяся въ его взглядѣ, когда онъ смотрѣлъ на нее, и робкая нѣжность въ его голосѣ, когда онъ говорилъ съ ней, и забота, которой окружалъ ее умирающей, и то, какъ онъ преображался весь отъ счастья, стоило ей сказать ему доброе слово наединѣ.

Въ это мгновеніе она не помнила о своей любви къ другому, не считала себя рабыней этого слишкомъ долго зажившагося больного и тосковала только объ одномъ: что не была возлѣ него въ послѣднюю минуту, когда, несомнѣнно, его ускользящая мысль искала ея, его замирающее сердце хоронило ее вмѣстѣ съ собой.

— Ты звалъ меня—и меня не было; хотѣлъ видѣть меня—я не пришла; быть можетъ, хотѣлъ довѣрить мнѣ, мнѣ одной, свое послѣднее желаніе, и я не могла его выслушать... А вѣдь ты умеръ, „зная“... О, какъ ты должно было страдать, бѣдное сердце! Да, ты былъ добръ, оберегалъ меня, ласкалъ меня всей нѣжностью своей кроткой души... Никогда, никогда не слыхала я отъ тебя иныхъ словъ, кромѣ словъ любви... я же причиняла тебѣ только боль... я, не желая того, убивала тебя день за днемъ...

Она нагнулась, снова протянула руку, чтобы приласкать его, но не посмѣла и только провела ему рукой по лицу быстрымъ движеніемъ, робкимъ и торжественнымъ.

Потомъ вдругъ упала на колѣни возлѣ кровати и заплакала.

Андреа смотрѣлъ на нее, смотрѣлъ на мертваго, и ему казалось дикой профанацией, что возлѣ трупа—она и что у нея можетъ быть съ нимъ что-нибудь общее—хотя бы молитва о немъ.

Хотѣлось позвать, окликнуть ее, но невольное почтеніе смыкало уста. Съ безмолвной досадой онъ прислушался и понялъ, что она молится.

Да и то, что губы ея шевелились и что-то шептали, и это почти религиозное колѣнопреклоненіе—все показывало, что она молилась. Усопшій вѣрнулъ въ Бога,—онъ не вѣрнѣтъ,—еще одно звено, которое соединяетъ ихъ, еще одна посмертная близость между ними... а ему нѣтъ и не можетъ быть мѣста въ этой молитвѣ, которую она лепетала, обливаясь слезами, возлѣ трупа,

какъ послѣднее прибѣжище отъ смерти—отъ смерти, причиненной его рукой.

Онъ отошелъ назадъ, думая, что ей станетъ страшно остаться одной возлѣ мертваго, но она не шевельнулась, не замѣтила, не вздрогнула. Вся залитая луннымъ свѣтомъ, она была теперь точно монахиня, замершая въ молитвенномъ экстазѣ; онъ видалъ такихъ въ дѣтствѣ на ступеняхъ алтарей. Теперь онъ ужъ не слышалъ шопота ея молитвы, не видѣлъ, какъ грудь ея вздымается отъ вздоховъ, какъ вздрагиваетъ ея затылокъ и розовая пятка то выдвигается, то прячется въ туфлю; видѣлъ только двѣ недвижныхъ фигуры, покрытыхъ однимъ луннымъ плащомъ.

— Новелла!...—тихонько позвалъ онъ.

И самъ вздрогнулъ отъ неожиданности при звукѣ своего голоса; а тѣ двѣ недвижныя фигуры не шевельнулись. Онъ подошелъ ближе, сталъ ждать.

Она была точно безъ сознанія, но вблизи онъ замѣтилъ, что плечи ея слегка вздрагиваютъ. Она такъ перегнулась вся впередъ, что лбомъ почти касалась простыни и, несмотря на лунный свѣтъ, въ глубинѣ вырѣза у шеи ея покатыя плечи были окутаны тѣнью.

Неожиданно она повернулась на согнутомъ колѣнѣ, раскинула руки и почти безшумно свалилась на полъ. Туфля соскочила съ розовой ножки, слегка подпрыгнула, перевернулась, капотикъ на груди распахнулся; пышная грудь, приподнявъ рубашку, образовала посрединѣ глубокую впадину.

Андреа посмотрѣлъ на нее, потомъ на мертваго, и удивился, что тотъ не нагибается взглянуть на нее.

„Ты видишь? — мысленно говорилъ онъ покойнику и, мнилось ему, смѣялся саркастическимъ смѣхомъ, но этотъ смѣхъ не доходилъ до устъ.—Ты видишь?..“

Ему показалось, что дверь позади отворяется; нисколько не удивившись, онъ обернулся взглянуть.

На порогъ дрожала только тѣнь дверного косяка, только тѣнь, ничего больше, и блестяла ручка двери.

За окномъ, на черной вѣткѣ, покачиваясь, пѣлъ соловей, словно въ насмѣшку, такъ громко и, казалось, такъ близко, что пѣніе его оглушало. Казалось, онъ сидитъ на подоконникѣ. Андреа обернулся посмотрѣть. Но каменный подоконникъ, сверкавшій въ лунномъ свѣтѣ, былъ пустъ, и квадратъ окна лазурнымъ каналомъ вливался въ безконечность.

— У-у-у! Кышъ! Не надо здѣсь пѣть. Убирайся!

Соловей перепрыгнулъ на другую вѣтку. Онъ сидѣлъ на боль-

шой магноліи, и слышно было, какъ шуршали его перышки о звонкіе твердые листья.

— Ты видишь?...

Ночной вѣтерокъ шаловливо влетѣлъ въ окно, растрепалъ волосы у мертвеца; тучка набѣжала на луну, разсѣяла чары луннаго свѣта, и комната сразу погрузилась въ мракъ, будто двѣ стѣны сомкнулись надъ нимъ.

— Ты видишь?...

Тучка постепенно сошла, и снова лунный свѣтъ залилъ комнату, сначала мягкій, потомъ яркій, словно электрической.

Тогда Андреа нагнулся къ Новеллѣ, взявъ ее за руку и слегка потряхнулъ. Она открыла глаза, оглядѣлась кругомъ, вспомнила и съ силой уцѣпилась за него обѣими руками, стараясь подняться.

— Прочь!... Прочь отсюда!...—забормотала она, наваливаясь на него всею тяжестью своего тѣла, подталкивая его впередъ и закрывая глаза, словно не хотѣла обернуться и снова увидѣть мертваго.—Уйдемъ, уйдемъ скорѣй!

Они вышли и, теперь уже не заботясь объ осторожности, темнымъ коридоромъ, обнявшись, вернулись обратно,—точно, совершивъ преступленіе, ушли безнаказанно, съ легкимъ сердцемъ, насладиться его плодами. У Андреа было такое чувство, словно онъ вырвалъ ее изъ рукъ соперника, болѣе сильнаго, чѣмъ самъ онъ, изъ объятій призрака или съ ложа другого мужчины, похитившаго ее.

Соловьиная пѣснь, звонкая и страстная, звенѣла въ очарованномъ саду, рассыпаясь нескончаемой трелью; порой, во время паузы, въ нее врывалось хохочущее лягушечье кваканье, словно кто-то щекоталъ липкое брюхо толстой, жирной лягушкѣ, или же сама она до смерти одурѣла отъ аромата жасмина.

— Дай мнѣ пить!—попросила, задыхаясь, Новелла.—Я умираю отъ жажды.

— Воды? У меня нѣтъ ничего, кромѣ воды.

— Ну, воды.

Онъ взявъ графинъ и стаканъ, наполнилъ его до краевъ и поднесъ къ ея губамъ. Она съ жадностью глотнула и посмотрѣла на своего милаго.

— А ты не хочешь пить?

— Да, потомъ.

— Нѣтъ, пей.—И она, взявъ его руку, придвинула стаканъ къ его губамъ. Онъ повиновался и съ жадностью осушилъ весь стаканъ, до дна.—Еще хочешь?—спросила она.

— Нѣтъ, будетъ.—И, тяжело переводя духъ, онъ прибавилъ:— Ты знаешь, что ты была въ обморокѣ?

Она зажмурила глаза и вся съежилась, словно прячась отъ страшныхъ видѣній.

— Не говори... не надо... Какой ужасъ! Какой ужасъ! Хочется хоть на минуту забыть объ этомъ... Не надо больше говорить...

Онъ поставилъ графиню на мѣсто и приѣлъ на край кровати, зажавъ руки между колѣнями, понутивъ голову.

Она, неспѣша, обошла всю комнату и остановилась у окна, глядя туда, въ звѣздную ночь.

Поднявшійся вѣтеръ колыхалъ траву на лугахъ, и она помпунтно мѣняла цвѣтъ; сонно колыхались верхушки деревьевъ; въ роуцѣ по густой листвѣ пробѣгали длительный шорохъ и шелестъ, словно съ листка на листокъ медленно, медленно сыпался дождь песчинокъ.

На ея глазахъ осыпался на высокомъ деревѣ большой бѣлый цвѣтокъ магноліи; лепестокъ за лепесткомъ падалъ, переворачиваясь въ воздухъ, и беззвучно ложился на блестящій гравій дорожки. Это зрѣлище цѣликомъ поглотило ее; она глазъ не могла оторвать отъ толстой вѣтки, продолжавшей раскачиваться, какъ будто ничего не случилось, и отъ мертваго цвѣтка, потерявшаго всѣ свои лепестки, лежавшіе подъ деревомъ, словно осколки фарфора. А посреди ихъ прыгали маленькій лягушенокъ, куда-то торопившійся по своимъ жабымъ дѣламъ.

Не оборачиваясь, она позвала:

— Андреа!

Но онъ не откликнулся, не подошелъ. И она, высунувшись въ окно, заглядѣлась на бѣлый фасадъ дома, на недалекое окно, за которымъ, въ глубинѣ комнаты, у противоположной стѣны, на озаренной луною кровати, въ саванѣ изъ луннаго свѣта лежалъ человекъ, уснувшій навѣкъ, а съ неба смотрѣли на него яркія звѣзды.

Увидѣла или почудилось ей, что изъ этого окна выходитъ мутно-голубой дымокъ, расплываясь во тьмѣ, и испуганно отшатнулась, чтобъ какъ-нибудь съ вѣтромъ не вдохнуть и атома этого дыма.

Подошла къ милому, коснулась рукой его волосъ. Онъ не поднял головы, ничего не сказалъ, и она съ наслажденіемъ длила ласку, погружая пальцы въ теплые волосы, слегка нагибаясь надъ нимъ. Потомъ спросила:

— Который часъ? Поздно уже?

Онъ разсѣянно посмотрѣлъ на часы.

— Четвертый.

— Тебѣ хочется спать?

— Нѣтъ. А тебѣ?

— Ни капельки. Посмотри на меня...

Андреа поднялъ глаза; взгляды ихъ встрѣтились, и оба почему-то удивились.

— Что же намъ дѣлать?

— Не знаю.

Она стояла передъ нимъ, положивъ руки ему на плечи, лицо его было почти спрятано у нея на груди, и, не касаясь ея, онъ все же чувствовалъ близость ея тѣла.

— Ты любила его!—вскричалъ онъ вдругъ гнѣвно, не поднимая головы.

— Нѣтъ... молчи...

— Да, ты любила его, теперь я это видѣлъ, я знаю...

Новелла пригнулась къ самому уху его, почти цѣлуя и продолжая лепетать:

— Молчи, молчи!...

Вмѣсто отвѣта онъ взялъ въ руки ея лицо и зажалъ ей ротъ безумнымъ поцѣлуемъ. И въ этомъ поцѣлуѣ они слились въ одно, отчаявшіеся и ненасытные, полные черезъ край ужаса и любви.

.....

Перев. З. Журавская.

(Продолженіе слѣдуетъ.)